

Глава VIII. ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И БОГА В ВИДУ ЗАКОНА ПРОТИВОРЕЧИЯ, ИЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВИДЕНИЯ

- Вступление

- § I. Вина человека. Разоблачение мифа о грехопадении
- § II. Описание мифа о Провидении. Отступление Бога

Вступление

Древние обвиняли в присутствии зла в мире человеческую природу.

Христианское богословие по-своему подступилось к этой теме; и поскольку это богословие подводит итог всему религиозному периоду, который от происхождения общества простирается до нашего времени, можно сказать, что догмат изначального предначертания, имея для себя согласие рода человеческого, приобретает этим даже самую высокую степень вероятности.

Таким образом, согласно всем свидетельствам древней мудрости, каждый народ, защищающий как превосходящие свои собственные институты и прославляющий их, должен понимать причину зла не посредством религий, правительств и традиционных обычаев, приветствуемых уважением поколений, а посредством первобытного извращения, своего рода врожденной хитрости человеческой воли. Что же касается того, как бытие (существование) могло извратиться и извращаться *изначально*, то древние выходили из этой трудности посредством притчи: яблоко Евы и ящик Пандоры остались знаменитейшими из их символических решений.

Следовательно, древность не только поместила в своих мифах вопрос происхождения зла; она решала его посредством другого мифа, без колебаний утверждая преступность *ab ovo* (из яйца (То есть изначально. — А.А. А-О.)) нашего рода.

Современные философы установили вопреки христианской догме не менее туманную догму — догму развращенности общества. *Человек рождается добрым*, — восклицает Руссо в своем безапелляционном стиле; — *но общество*, то есть формы и институты общества, *его развращают*. Именно в этих терминах сформулирован парадокс, или, лучше сказать, протест философа из Женевы. Однако очевидно, что эта идея — лишь разворот античной гипотезы. Древние обвиняли индивидуума; Руссо обвиняет человека коллективного: по сути, это все то же предложение, абсурдное предложение.

Однако, несмотря на принципиальную идентичность принципа, формула Руссо, именно потому, что она была оппозицией, была прогрессом: поэтому она была встречена с энтузиазмом и стала сигналом к реакции, полной антилогий и непоследовательностей. Уникальная вещь! именно к анафеме, направленной автором «*Эмиля*»[224] против общества, которое возвышает современный социализм.

В течение семидесяти-восемидесяти лет принцип социального извращения эксплуатировался и популяризировался различными сектантами, которые, копируя Руссо, всеми силами отталкивают антиобщественную философию этого писателя, не замечая, что стремясь реформировать общество, они остаются так же антиобщественны, как и он. Это любопытное зрелище — видеть этих псевдоноваторов, осуждающих следом за Жан-Жаком

монархию, демократию, собственность, сообщество, твое и мое, монополию, наемный труд, полицию, налог, роскошь, торговлю, деньги, одним словом, все, что составляет общество, и без чего общество нельзя себе представить; затем, обвиняя в мизантропии и пара-логизме того же Жан-Жака, потому что, осознав небытие всех утопий, в то же время указывая на антагонизм цивилизации, он сделал строгий вывод против общества, признавая при этом, что вне общества нет человечества.

Я советую перечитать «Эмиля» и «Общественный договор»[225] тем, кто в рамках веры клеветников и плагиаторов воображает, что Руссо создал свой тезис лишь из стремления к уникальности. Этот замечательный диалектик был приведен к отрицанию общества с точки зрения справедливости, несмотря на то, что он был вынужден признать это необходимым; точно так же, как мы, верящие в неопределенный прогресс, не перестаем отрицать как нормальное и окончательное нынешнее состояние общества. Только в то время, как Руссо посредством политической комбинации и системы воспитания стремился приблизить человека к тому, что он называл природой, и которое было для него идеалом общества; мы, получившие образование в более глубокой школе, говорим, что задача общества — постоянно разрешать свои антиномии, о чем Руссо не мог и помыслить. Таким образом, со стороны ныне заброшенной системы «Общественного договора», и что касается только критики, социализм, что бы он ни говорил, все еще находится в том же положении, что и Руссо, вынужденный непрестанно реформировать общество, то есть постоянно отрицать его.

Руссо, одним словом, лишь в общей и безапелляционной манере заявил о том, что социалисты повторяют в деталях и в каждый момент прогресса: знать, что общественный порядок несовершенен и что чего-то в нем всегда не хватает. Ошибки Руссо нет, не может быть в этом отрицании общества: она состоит, как мы это покажем, в том, что он не умел следовать своей аргументации до конца и отрицать одновременно и общество, и человека, и Бога.

Во всяком случае, теория невинности человека, соотносимая с теорией разложения общества, в конечном счете возобладала. Подавляющее большинство социализма, Сен-Симон, Оуэн, Фурье и их последователи; коммунисты, демократы, прогрессисты всех мастей торжественно отвергали христианский миф о грехопадении человека, чтобы подменить его системой грехопадения общества. И поскольку большинство этих сектантов, несмотря на свою вопиющую безбожность были все еще слишком религиозны, слишком набожны, чтобы завершить работу Жан-Жака и возложить на Бога ответственность за зло, они нашли способ вывести из предположения Бога догму о прирожденной человеческой доброте и начали еще более красочно выступать против общества.

Теоретические и практические последствия этой реакции заключались в том, что зло, то есть эффект внутренней и внешней борьбы, будучи само по себе ненормальным и преходящим, исправительные и репрессивные учреждения также преходящи; что в человеке нет порока, но среда, в которой он живет, развратила его наклонности; что цивилизация ошиблась в своих тенденциях; что принуждение безнравственно, что наши страсти святы; что наслаждение свято, и его следует искать как саму добродетель, потому что Бог, который заставляет нас желать его, свят. И женщины, пришедшие на помощь

краснобайству философов, обрушили поток антирестриктивных протестов, *quasi de vulvâ erumpens* (извергся из чрева), чтобы служить мне сравнением Святого Писания, на потрясенную публику.

Сочинения этой школы предаются своему евангельскому стилю, ипохондрическому теизму, как и их ребус — диалектике.

«Мы обвиняем, — говорит г-н Луи Блан, — почти во всех наших видах зла человеческую природу; надо бы обвинить в этом порок социальных институтов. Оглянитесь вокруг себя: что за неуместные и СЛЕДОВАТЕЛЬНО порочные способности? Сколько беспокойных действий, не нашедших своей законной и естественной цели! Мы заставляем наши страсти проходить через нечистую среду; они изменяются в ней: что в этом удивительного? Поместите здорового человека в зловонную атмосферу, он будет дышать смертью... Цивилизация пошла по ложному пути...; и сказать, что иначе и быть не может, — значит потерять право говорить о справедливости, морали, прогрессе; значит потерять право говорить о Боге. Провидение исчезает, чтобы освободить место для грубейшего фатализма». В «*Организации труда*» г-на Блана, которую я с пристрастием цитирую, имя Бога встречается сорок раз, и всегда — чтобы ни о чем не сказать, потому что в моих глазах он лучше других представляет передовое демократическое мнение, и мне нравится делать ему честь, опровергая его.

Таким образом, в то время как социализм, которому помогает крайняя демократия, обожествляет человека, отрицая догму грехопадения, и, следовательно, свергает Бога, который теперь бесполезен в виду совершенства своего творения; этот же социализм, по трусости духа, возвращается к утверждению Провидения, и это в тот самый момент, когда он отрицает провиденциальный авторитет истории.

И поскольку ничто среди людей не имеет таких шансов на успех, как противоречие, идея религии удовольствия, обновленная Эпикуром во время затмения общественного разума, была использована для воодушевления национального гения; именно этим отличают новых теистов от католиков, против которых первые выступали в течение двух лет только из фанатичного соперничества. Сегодня модно говорить по любому поводу о Боге и выступать против папы, призывать Провидение и высмеивать Церковь. *Слава Богу, мы больше не атеисты*, — сказала однажды *Реформа*; тем более, — могла бы она добавить невзначай, — что мы не христиане. Каждый, кто держит перо, дал себе слово увлечь народ; и первая статья новой веры заключается в том, что бесконечно добрый Бог сотворил человека таким же добрым, как он сам; что не мешает человеку на глазах Бога делать себя злым в отвратительном обществе.

Однако, несмотря на эти проявления, скажем даже на эти склонности религии, это чувствительно, что ссора между социализмом и христианской традицией, между человеком и обществом должна закончиться отрицанием Божественности. Общественный разум не отличается для нас от абсолютного разума, который есть не кто иной, как сам Бог, и отрицать общество на его предыдущих этапах — значит отрицать Провидение, значит отрицать Бога.

Итак, мы находимся между двумя отрицаниями, двумя противоречивыми утверждениями: одно, которое голосом древности, ставящим общество и Бога, которого оно представляет, относится к человеку только по принципу зла; другое, которое, протестуя от имени свободного, умного и прогрессивного человека, отвергает социальную немощь и, следовательно, творческий и вдохновляющий гений общества, все потрясения Вселенной.

Однако, поскольку аномалии общественного порядка и угнетение индивидуальных свобод проистекают прежде всего из игры экономических противоречий, мы должны искать, учитывая данные, которые мы выявили:

1) Является ли фатальность, сфера которой окружает нас, для нашей свободы настолько властной и необходимой, что нарушения закона, совершенные под империей антиномий, перестают быть значимыми? И, если нет, откуда эта вина, свойственная человеку?

2) Не потерпело ли неудачу с обществом во время опасности гипотетическое существо, прекрасное, всемогущее, мудрейшее, которому вера приписывает высокую направленность человеческих беспокойств? И, если это так, объясните эту недостаточность Божественности.

В двух словах, мы рассмотрим, является ли человек Богом, является ли сам Бог Богом, или же, чтобы достичь полноты ума и свободы, мы должны искать более высокий предмет.

§ I. Вина человека.

Разоблачение мифа о грехопадении

Пока человек живет по закону эгоизма, он обвиняет самого себя; как только он поднимается до концепции общественного закона, он обвиняет общество. И в том, и в другом случае это всегда человечество обвиняет человечество; и то, что до сих пор явственно вытекает из этого двойного обвинения, — это странная способность, о которой мы еще не сообщали, и которую религия приписывает Богу, как и человеку, ПОКАЯНИЕ.

В чем же раскаивается человечество? За что Бог, который также раскаивается в нас, хочет наказать нас? *Pœnituit Deum quod hominem fecisset in terrâ; et tactus dolore cordis intrinsecùs, delebo, inquit, hominem...* (И раскаялся Бог, что он создал человека из земли; и это огорчило его в его сердце...)

Если я докажу, что преступления, в которых человечество обвиняет себя, не являются следствием его экономических затруднений, при том, что они являются следствием его идей; что человек совершает зло бесплатно и без принуждения, так же, как он почитает себя актами героизма, которого не требует правосудие: из этого следует, что человек под давлением своей совести может привести некоторые смягчающие обстоятельства, но он никогда не может быть полностью освобожден от своего проступка; что борьба происходит в его сердце, как и в его разуме; что иногда он достоин похвалы и иногда достоин порицания, что всегда является признанием его дисгармонии; наконец, что сущность его души — это вечный компромисс между противоположными силами притяжения, его мораль — качающаяся система, одним словом, и это слово объясняет все, — эклектика.

Мое доказательство скоро будет приведено.

Существует закон, предшествующий нашей свободе, принятый от начала мира, дополненный Иисусом Христом, проповедуемый, свидетельствуемый апостолами, мучениками, исповедниками и девственницами, запечатленный в недрах человека и превосходящий всю метафизику: это ЛЮБОВЬ. *Возлюби ближнего своего, как самого себя*, говорит нам Иисус Христос после Моисея. Все здесь. *Возлюби ближнего своего, как самого себя*, и общество будет совершенным; возлюби ближнего своего, как самого себя, и все различия между князем и пастырем, богатым и бедным, ученым и невежественным, испарятся; все противоречия человеческих интересов исчезнут. *Возлюби ближнего, как самого себя*, и счастье труда, без всякой заботы о будущем, наполнит твои дни. Чтобы

исполнить этот закон и стать счастливым, человеку нужно лишь следовать по зову своего сердца и прислушиваться к голосу сострадания: он противостоит! Он делает больше: не довольствуясь предпочтением ближнего, он постоянно работает над тем, чтобы уничтожить ближнего: предав любовь эгоизму, он ниспровергает ее несправедливостью.

Человек, говорю я, не верный закону милосердия, произвел сам для себя из противоречий общества, без всякой надобности, столько средств причинить вред; своим эгоизмом цивилизация превратилась в войну неожиданностей и ловушек; он лжет, он ворует, он убивает, без обстоятельств непреодолимой силы, без провокаций, без оправдания. Словом, он совершает зло со всеми характеристиками нарочито злой натуры, тем более преступной, чем более она умеет, когда хочет, совершать добро также безвозмездно, что заставило сказать с такой же рассудительностью, как и глубиной: *Homo homini lupus, vel deus* (Человек человеку волк...).

Чтобы не слишком распространяться, а главное, чтобы ничего не предрешать по вопросам, которые мне придется взять на себя, я ограничусь ранее проанализированными экономическими фактами.

Будь разделение труда по своей природе, вплоть до дня синтетической организации, непреодолимой причиной физического, морального и интеллектуального неравенства среди людей, ни общество, ни сознание ничего не смогут с этим поделать. Это факт необходимости, в котором богач так же невиновен, как и рабочий, обреченный государством на всевозможные беды.

Но как случилось, что это роковое неравенство перешло в дворянское звание для одних, низкое положение для других? Как случилось, что если человек добр, что он не сумел своей добротой устранить это препятствие, такое метафизическое, и вместо того, чтобы усиливать между людьми братскую связь, беспощадная необходимость разрывает ее? Тут человек не может извиниться за свою экономическую неспособность, за свою законодательную непредусмотрительность: ему достаточно иметь сердце. Почему, в то время как мученики разделения труда должны были быть спасены, прославлены богатыми, они были отвергнуты как нечистые? Почему никогда не замечали, как хозяева иногда меняют рабов; князья, чиновники и священники перемещают занятых в промышленности; дворяне заменяют крестьян на земле? Откуда взялась у сильных такая жестокая гордыня?

И обратите внимание, что такое поведение с их стороны было бы не только благотворительным и братским; это была самая строгая справедливость. В соответствии с принципом коллективной силы трудящиеся являются равными и соратниками своих руководителей; так же, как в самой системе монополии общность действий, восстанавливающая равновесие, которое нарушил индивидуализм, справедливость и милосердие совмещаются. Как же тогда, с учетом гипотезы о сущностной доброте человека, объяснить чудовищную попытку изменить власть одних на благородство, а послушание других на простоту? Труд между крепостным и свободным человеком, как и цвет между черным и белым, всегда пересекала непреодолимая черта: и мы сами, столь гордые своим человеколюбием, думаем в глубине души так же, как наши предшественники. Сочувствие, которое мы испытываем к пролетарию, похоже на то, что вселяют в нас животные: страх

страданий, гордость за то, что мы отдаляемся от всего, что страдает, — вот из каких уловок эгоизма происходит наше человеколюбие.

Ибо, наконец, я не хочу, чтобы этот факт сбил нас с толку, не правда ли, что спонтанная благотворительность, столь чистая в своем первобытном понятии (*elemosyna* — милость, лат., симпатия, нежность), подаяние, наконец, стала для несчастного признаком упадка, публичного увядания? И социалисты, исправляя христианство, осмеливаются говорить с нами о любви! Христианская мысль, совесть человечества, поступила правильно, ког да создала так много учреждений для облегчения несчастья. Для того чтобы постичь суть евангельского учения и сделать законное милосердие столь же почетным для тех, кто был бы его объектом, как и для тех, кто его осуществлял, нужно было что? меньше гордыни, меньше похоти, меньше эгоизма. Может ли кто-нибудь сказать мне, если человек такой хороший, то как право на милостыню стало первым звеном в длинной цепи нарушений, проступков и преступлений? Осмелятся ли еще обвинять злодеяния человека антагонизмом общественной социальной экономики, поскольку этот антагонизм давал ему такую прекрасную возможность проявить милосердие своего сердца, я говорю не самоотвержением, но простым исполнением справедливости?

Я знаю, и это возражение единственное, что может быть мне сделано, что милосердие терпит позор и бесчестье, потому что человек, требующий его, слишком часто, — увы! — подозревается в проступке, и что редко благородство нравов и труда рекомендуют его. И статистика доказывает своими цифрами, что в десять раз больше бедняков по трусости и беспечности, чем по случайности или невезению.

Я не могу опровергнуть это замечание, из которого слишком много фактов доказывают истину и которое к тому же получило санкцию народа. Народ первым обвиняет бедняков в лени; и нет ничего более обычного, чем встречать в низших классах людей, которые хвастаются, как дворянским титулом, тем, что никогда не ходили в госпиталь, и к их величайшей скорби тем, что не получали никакой помощи от общественного милосердия. Так же, как богатство сознается в своих хищениях, нищета сознается в своем унижении. Человек является тираном или рабом добровольно, до того, как стать им по воле судьбы; сердце пролетария подобно сердцу богача, — это канализация бурлящей чувственности, рассадник подлости и обмана.

На это неожиданное откровение я спрашиваю, как бывает, если человек так добр и милосерден, что богатый клеветает на милосердие, а бедный оскверняет его? — Это извращение суждений у богатого, — говорят одни; это деградация способностей у бедного, — говорят другие. — Но как получается, что суждение извращается, с одной стороны, а с другой — деградируют способности? Как получается, что истинное и сердечное братство не остановило с обеих сторон последствия гордыни и труда? Пусть мне ответят причинами, а не фразами.

Труд, изобретая процессы и машины, которые бесконечно умножают его мощь, а затем, стимулируя соперничество индустриального гения и обеспечивая его завоевания за счет прибыли капитала и привилегий эксплуатации, сделал более глубоким и неизбежным иерархическое построение общества: опять-таки не надо никого обвинять в этом. Но я еще

раз подтверждаю святой закон Евангелия в том, что от нас зависело вытянуть из этого подчинения человека человеку, или, лучше сказать, рабочего от рабочего, совсем другие последствия.

Традиции феодальной жизни и жизни патриархов подавали пример промышленникам. Разделение труда и прочие происшествия на производстве были лишь призывами к большой семейной жизни, намеками на подготовительную систему, по которой должно было переводиться и развиваться братство. Хозяйства, корпорации и права первородства были задуманы с этой идеей; даже многие коммунисты не уклоняются от этой формы объединения: удивительно ли, что идеал так жив среди тех, кто, побежденный, но не обращенный, до сих пор остается его представителем? Кто же тогда мешал милосердию, объединению, самоотверженности, возможности поддерживать себя в иерархии, когда иерархия была лишь условием труда? Достаточно было, чтобы люди с машинами, доблестные всадники, сражающиеся равным оружием, не делились тайнами или запасами своих секретов; чтобы бароны отправлялись в поход только ради более дешевого товара, а не для его захвата; и чтобы вассалы, уверенные, что война приведет только к увеличению их богатства, всегда проявляли предприимчивость, трудолюбие и верность. Начальник цеха был уже не просто капитаном, который маневрировал своими вооруженными людьми в их интересах так же, как и в своих, и обслуживал их не своими деньгами, а их же собственными услугами.

Вместо этих братских отношений у нас были гордыня, ревность и лжесвидетельство; хозяин, эксплуатирующий, подобно сказочному вампиру, униженного наемника, и наемник в заговоре против хозяина; бездельник, пожирающий существо рабочего, и крепостной, крадущийся по грязи, не имеющий энергии ни на что, кроме ненависти.

«Призванные обеспечить в деле производства, эти — орудия труда, те — труд: капиталисты и рабочие сегодня в борьбе (друг с другом), почему? Потому что произвол руководит всеми их отношениями; потому что капиталист спекулирует на потребности, которую испытывает рабочий в том, чтобы получить инструменты, в то время как рабочий, со своей стороны, стремится воспользоваться потребностью, которую испытывает капиталист в увеличении своего капитала» (Л. Блан, «Организация труда»).

Но откуда этот произвол в отношениях капиталиста и рабочего? К чему эта вражда интересов? К чему это взаимное ожесточение? Вместо того, чтобы постоянно объяснять факт самим фактом, идите в глубину (проблемы), и вы обнаружите повсюду пыл потребления, который не сдерживают ни закон, ни справедливость, ни милосердие; вы увидите эгоизм, бесконечно стремящийся к будущему и приносящий в жертву своим чудовищным прихотям труд, капитал, жизнь и безопасность всего.

Богословы называли *вожделение* или *алчный аппетит* страстью чувственных вещей, следствием, по их мнению, первородного греха. Меня сейчас мало волнует, что такое первородный грех; замечу только, что алчный аппетит богословов есть не что иное, как эта *потребность в роскоши*, о которой сообщала Академия гуманитарных наук как о доминирующем мотиве наших времен. Теперь теория пропорциональности стоимостей показывает, что естественной мерой роскоши является производство; что любое ожидаемое

потребление покрывается эквивалентной последующей потерей, и что преувеличение роскоши в обществе имеет своей обязательной корреляцией увеличение нищеты. Теперь, когда человек жертвует своим личным благополучием ради ожидаемых роскошных наслаждений, возможно, я обвиню его только в неосторожности; но когда он использует благосостояние своего ближнего, благосостояние, которое должно было оставаться для него неприкосновенным, то исходя из милосердия и во имя справедливости я говорю, что тогда человек дурной, злой без оправдания.

Когда Бог, согласно Боссюэ, сформировал внутреннее содержание человека, он сначала вложил в него добро. Таким образом, любовь — наш первый закон: предписания чистого разума, а также наущения чувствительности появляются только во второй и третьей очереди. Такова иерархия наших способностей: принцип любви, составляющий основу нашего сознания и обслуживаемый разумом и органами. Следовательно, одно из двух: виновен либо человек, который посягнул на благотворительность, чтобы повиноваться своей жадности; или, если эта психология ошибочна, и в человеке потребность в роскоши должна равняться милосердию и разуму, то человек является беспорядочным животным, фундаментально злым и самым изощренным из существ.

Таким образом, органические противоречия общества не могут прикрыть ответственность человека; сами по себе эти противоречия, кроме того, являются лишь теорией иерархического режима, первичной формой и, следовательно, безупречной формой общества. По антиномии их развития труд и капитал постоянно сводились к равенству, к подчинению, солидарности так же, как к зависимости: один был агентом, другой — провокатором и хранителем общественного достояния. Это знамение было смущенно воспринято теоретиками феодальной системы; христианство появилось для того, чтобы закрепить договор; и вновь это ощущение неправильно понятой и искаженной организации, но самой по себе невинной и законной, которая вызывает у нас сожаления и поддерживает надежду партии. Поскольку эта система была предсказана судьбой, мы не можем сказать, что она была плохой сама по себе, так же, как мы не можем назвать плохим эмбриональное состояние, потому что в физиологическом развитии оно предшествует взрослой жизни.

Поэтому я настаиваю на своем обвинении:

При режиме, упраздненном Лютером и французской революцией, человек, насколько позволял ему прогресс его промышленности, мог быть счастлив: он не хотел этого; напротив, он защищал себя (от этого). Труд был признан позорным; клирик и дворянин сделали себя пожирателями бедного; чтобы удовлетворить свои животные страсти, они гасили в своих сердцах милосердие; они разоряли, угнетали, убивали труженика. И вот опять мы видим, как капитал гонится за пролетариатом. Вместо того, чтобы умерить ассоциацией и взаимопомощью разрушительную тенденцию экономических принципов, капиталист ее увеличивает без необходимости и злого умысла; он злоупотребляет чувствами и самосознанием рабочего; он делает его камердинером своих интриг, поставщиком своих излишеств, сообщником своих грабежей; он делает его во всем похожим на себя, и именно тогда он может бросить вызов справедливости ожидаемых революций. Чудовищная вещь! человек, который живет в нищете, чья душа, следовательно, кажется более близкой к милосердию и чести, этот человек разделяет испорченность своего

хозяина; как и он, он отдает все гордыне и похоти, и если иногда он возмущается неравенством, от которого страдает, то это не столько из стремления к справедливости, сколько из соперничества вождения. Величайшее препятствие, которое нужно преодолеть равенству, заключается не в аристократической гордыне богатого, а в непокорном эгоизме бедного. И вы рассчитываете на его прирожденную доброту, чтобы реформировать все сразу, спонтанность и преднамеренность его умысла!

«Поскольку ложное и антиобщественное воспитание, данное нынешнему поколению, — говорит Луи Блан, — не позволяет искать мотив соперничества и воодушевления в ином месте, кроме как в дополнительном вознаграждении, разница в зарплатах будет сформулирована исходя из иерархии функций, и только совершенно новое воспитание должно будет изменить в этом отношении идеи и нравы».

Оставим тому, что они стоят, иерархию функций и неравенство зарплат: рассмотрим здесь только мотив, данный автором. Не странно ли видеть, как господин Блан констатирует доброту нашей натуры и в то же время обращается к самой подлой из наших склонностей, к жадности? Воистину, зло должно показаться вам настолько глубоким, чтобы вы сочли необходимым начать восстановление милосердия с преступления против милосердия. Иисус Христос ломал забрало гордыни и похоти: видимо, распутники, которых он катехизировал, были святыми персонажами в сравнении с дурно пахнущими овцами социализма. Но скажите нам, наконец, как были искажены наши идеи; почему антисоциально наше воспитание, поскольку теперь доказано, что общество пошло по пути, проложенному судьбой, и что нельзя больше обвинять его в преступлениях человека?

Воистину логика социализма изумительна.

Человек добр, говорят они; но надо *отвращать* его от зла, чтобы он воздерживался от него. Человек добр; но надо *заинтересовать* его добром, чтобы он творил добро. Ибо если корысть его страстей ведет его в сторону зла, то он будет творить зло; и если та же корысть оставляет его безразличным к добру, то он не будет творить добра. И общество не будет иметь права упрекать его в том, что он прислушивался к своим страстям, потому что общество должно было вести его своими страстями. Какая богатая и драгоценная натура этот Нерон, который убил свою мать, потому что эта женщина раздражала его, и сжег Рим, чтобы иметь представление о судьбе Трои! Какая душа художника у этого Гелиогабала, организовавшего проституцию! какой могучий характер у Тиберия! но какое мерзкое общество, которое извратило эти божественные души и которое вместе с тем произвело Тацита и Марка-Аврелия!

Так вот что называется невинностью человека, святостью его страстей! Древняя Сафо, покинутая любовниками, возвращается в супружескую норму; равнодушная к любви, она возвращается к Гименею, и она святая! Как жаль, что это слово «святой» не имеет во французском языке того двойного значения, которое оно имеет на иврите! Все согласились бы со святостью Сафо.

Я читал в отчете бельгийских железных дорог, что бельгийская администрация выделила своим механикам премию в размере 35 сантимов за гектолитр кокса, которая была бы

сэкономлена на среднем потреблении 95 килограммов за пройденный лье, эта премия принесла результат, заключающийся в том, что потребление снизилось с 95 килограммов до 48. Этот факт обобщает всю философию социализма: постепенно обучать рабочего справедливости, воодушевлять его к труду, поднимать его до вершин самоотдачи путем повышения зарплаты, соучредительства, отличий и воздаяний. Конечно, я не намерен порицать этот старый, как мир, метод: каким бы образом вы ни приручали и ни делали змей и тигров полезными, я этому аплодирую. Но не говорите, что ваши звери — это голуби; поскольку при любом ответе я заставлю вас увидеть их когти и зубы. Прежде чем бельгийские механики заинтересовались экономией топлива, они сожгли вдвое больше. Значит, с их стороны были проявлены беспечность, небрежность, расточительность, возможно, воровство, поскольку они были связаны по отношению к администрации контрактом, который обязывал их практиковать все противоположные добродетели. — *Это хорошо*, — скажете вы, — *заинтересовать рабочего*. — Более того, я говорю, что это справедливо. Но я утверждаю, что этот *интерес*, который оказывает на человека большее влияние, чем данное обязательство, который более влиятелен, словом, чем ДОЛГ, обвиняет человека. Социализм отступает в нравственности, и он пренебрегает христианством. Он больше не понимает милосердия, хотя именно он, по его мнению, изобрел милосердие.

Посмотрите все же, замечают социалисты, какие счастливые плоды уже принесло совершенствование нашего общественного порядка! Несомненно, нынешнее поколение лучше, чем предшествовавшее ему: ошибаемся ли мы, заключая, что совершенное общество произведет совершенных граждан? — Скажите сначала, — отвечают консерваторы, сторонники догмы грехопадения, — что религия очистила сердца, неудивительно, что институты это почувствовали. Пусть теперь религия завершит свою работу, и не беспокойтесь об обществе.

Так говорят и возражают друг другу в бесконечном разглагольствовании теоретики обоих мнений. Они не понимают, ни одни, ни другие, что человечество, чтобы служить мне выражением Библии, является единым и постоянным в своих поколениях, то есть все в нем, в каждую эпоху своего развития, как в индивиде, так и в массе, происходит из одного и того же принципа, который заключается не в *бытии*, а в *становлении*. Они не видят, с одной стороны, что прогресс в нравственности — это непрестанное завоевание ума над животными чувствами, так же как прогресс в богатстве — это плод войны, которую труд ведет против скупости природы; следовательно, идея потерянной обществом исконной добродетели столь же абсурдна, как идея потерянного трудом исконного богатства, и сделку со страстями следует воспринимать в том же смысле, как сделку со спокойствием. С другой стороны, они не хотят слышать, что если в человечестве есть прогресс, либо по факту религии, либо по какой-либо другой причине, то предположение о конституционной испорченности — это нонсенс, противоречие.

Но я предвосхищаю выводы, которые мне придется сделать: займемся лишь констатацией того, что нравственное совершенствование человечества, как и материальное благополучие, осуществляется путем череды колебаний между пороком и добродетелью, *заслугой и провинностью*.

Да, есть прогресс человечества в справедливости, но этот прогресс нашей свободы,

возникающий из прогресса нашего разума, несомненно, не доказывает нашей природной доброты; и, не позволяя нам превозносить наши страсти, он поистине разрушает их преобладание. Наша злоба со временем меняет моду и стиль: лорды средневековья грабили путешественника на большой дороге, а затем предлагали ему гостеприимство в своем замке; меркантильный феодализм, менее жестокий, эксплуатирует пролетария и строит для него больницы: кто осмелится сказать, кто из них заслужил пальму добродетели?

Из всех экономических противоречий стоимость является той, которая, доминируя над другими и обобщая их, как бы держит скипетр общества, я чуть не сказал — нравственного мира. До тех пор, пока стоимость, колеблющаяся между двумя полюсами, стоимостью полезной и стоимостью обмена, не достигнет своего назначения, «твое» и «мое» останутся произвольно установленными; условия успеха — следствием случая; собственность опирается на сомнительное звание, все в общественной экономике является временным. Какие выводы должны были извлечь из этой неопределенности стоимости общительные, умные и свободные существа? создание дружественных правил, защищающих труд, гарантирующих обмен и низкие цены. Какая счастливая возможность для всех — заменить верностью, бескорыстием, нежностью сердца незнание объективных законов справедливости и несправедливости! Вместо этого торговля стала повсюду, посредством спонтанных усилий и единодушного согласия, случайной сделкой, контрактом на копию, лотереей, часто спекуляцией на неожиданности и мошенничеством.

Что заставляет собственника пропитания, хранителя общественного магазина имитировать дефицит, поднимать тревогу и вызывать возмущение? Общественное легкомыслие сдает потребителя на милость; любое изменение температуры дает ему предлог; уверенная перспектива наживы в конце концов развращает его, и страх, умело распространяемый, бросает население в его сети. Правда, мотив, заставляющий действовать мошенника, вора, убийцу, эти натуры, извращенные, как говорят, социальным порядком, — тот же самый, который оживляет скупщика. Как же тогда эта страсть к наживе, существующая сама собой, оборачивается во вред обществу? Каким образом превентивный, репрессивный и принудительный закон должен был постоянно вводить ограничения для свободы? Ибо в этом состоит обвинительный факт, и отрицать его невозможно: всюду закон появился в результате злоупотребления; всюду законодатель видел себя вынужденным поставить человека в положение, в котором он будет бессилён приносить вред, что синонимично попытке заткнуть глотку льву, сделать инфибуляцию кабану. И социализм, всегда подражая прошлому, сам не претендует ни на что другое: что же такое, в самом деле, эта организация, которую он требует, если не более сильная гарантия справедливости, более полное ограничение свободы? Характерная черта коммерсанта — сделать из любой вещи либо объект, либо инструмент продвижения. Разобщенный со своими единомышленниками, не согласный со всеми, он — «за» и «против» всех фактов, мнений, партий. Открытия, наука — все это в его глазах военная машина, против которой он борется и которую он хотел бы уничтожить, если только он сам не сможет использовать ее, чтобы убить своих конкурентов. Артист, ученый — артиллерист, умеющий маневрировать событиями пьесы и норовящий подкупить, если не может приобрести. Коммерсант убежден, что логика — это искусство доказывать по собственному желанию, что истинно и что — ложно; именно он изобрел политическую продажность, торговлю совестью, проституцию талантов, коррупцию прессы. Он умеет находить аргументы и адвокатов для всяких измышлений, для всех беззаконий.

Только он никогда не питал иллюзий относительно стоимости политических партий: он считает их все одинаково годными к эксплуатации, то есть одинаково абсурдными.

Без всякого уважения к собственным мнениям, которые он поочередно то провозглашает, то отрицает; преследуя в других нарушения, в которых он сам виновен, он лжет в своих претензиях, он лжет в своих сведениях, он лжет в своих документах; он преувеличивает, он смягчает, он переоценивает; он смотрит на себя как на центр мира, и все, что вне его, имеет лишь существование, стоимость, относительную истинность. Тонкий и хитрый в своих сделках, он утверждает, он резервирует, всегда боясь того, чтобы сказать слишком много и не сказать достаточно; злоупотребляя словами с простаками, обобщая, чтобы не компрометировать себя, выбирая, чтобы ни на что не соглашаться, он три раза поворачивается вокруг себя самого и семь раз почешет подбородок, прежде чем сказать свое последнее слово. Приходит ли он, наконец, к какому-то к выводу? он перечитывает, он толкует, комментирует; он дает себе пытку найти в каждой частице своего поступка глубокий смысл, а в самых ясных фразах — противоположность тому, что в них сказано.

Какое бесконечное искусство, какое лицемерие в отношениях с рабочим человеком! От простого руководителя до крупного предпринимателя, как они договариваются эксплуатировать его! как они умеют спорить о работе, чтобы получить ее по самой подлой цене! Для начала это надежда, за которую хозяин получает движение дела; затем обещание, что он учитывает наряд (на работу); затем испытание, жертва (поскольку ему никто не нужен), которую несчастный должен признать, довольствуясь самой низкой заработной платой; это бесконечные требования и перегрузки, вознаграждаемые самыми грабительскими и фальшивыми расчетами. И надо, чтобы рабочий замолчал и поклонился, чтобы он сжал кулак под рабочей блузой: ведь начальник руководит делом так, чтобы быть счастливым от участия в мошенничествах. И это отвратительное давление, такое спонтанное, такое наивное, такое свободное от всякого высшего порыва, потому что общество еще не нашло способа предотвратить его, подавить, наказать, его приписывают социальному принуждению! Какое безобразие!

Коммивояжер — это тип, высочайшее выражение монополии, резюме торговли, то есть цивилизации. Любая функция зависит от него, участвует в нем или ассимилируется с ним: поскольку с точки зрения распределения богатств отношения людей между собой все сводятся к обмену, то есть к перемещению стоимостей, можно сказать, что цивилизация персонифицировалась в коммивояжере.

Расспросите коммивояжеров о нравственности их профессии; они будут добросовестны: все они скажут вам, что коммивояж — это разбой. Жалуются на мошенничество и фальсификации, которые позорят промышленность: торговля, я имею в виду прежде всего агентскую (разъездную), — не что иное, как гигантский и постоянный заговор монополистов, по очереди конкурирующих или сговаривающихся; это уже не функция, осуществляемая ради законной прибыли, это обширная организация ажиотажа по всем предметам потребления, так же, как по передвижению людей и товаров. Уже жульничество признано терпимым в этой профессии: сколько приписок в накладных, сколько вычеркнуто, фальсифицировано! Сколько печатей сфабриковано! Сколько скрытого или выдуманного ущерба! Сколько вранья о качествах! Сколько слов — данных и взятых назад! Сколько

частичных удалений! Сколько интриг и коалиций! И сколько предательств!

Коммивояжер, то есть торговец, то есть человек, — игрок, клеветник, шарлатан, продажный, вор, фальсификатор...

Это эффект нашего антагонистического общества, — замечают неомистики. Так говорят люди торговли, первые из тех, кто при любых обстоятельствах обвиняют коррупцию века. То, что они делают, по их мнению, происходит совершенно против их воли: они следуют необходимости, они находятся в обстоятельствах самообороны.

Нужны ли гениальные усилия, чтобы понять, что эти взаимные упреки достигают самой природы человека, что так называемое извращение общества есть не что иное, как извращение самого человека, и что противопоставление принципов и интересов — это всего лишь случайность, так сказать, внешняя, которая подчеркивает, но без необходимого влияния, и черноту нашего эгоизма, и те редкие достоинства, которыми гордится наш род?

Я понимаю дисгармонию конкуренции и ее непреодолимые последствия: это неизбежность. Конкуренция в своем главном выражении — сцепление (шестеренка), посредством которого рабочие используют взаимное ободрение и поддержку. Но пока не осуществится организация, которая должна вознести конкуренцию до ее настоящего естества, она остается гражданской войной, в которой производители, вместо того чтобы помогать друг другу в труде, перемалывают и сокрушают друг друга трудом. Опасность здесь была неминуема: человек, чтобы отвратить ее, обладал высшим законом любви; и нет ничего проще, подталкивая конкуренцию в интересах производства до крайних пределов, исправлять потом ее смертоносные последствия справедливым распределением. Далекая от этого, эта анархическая конкуренция уподобилась душе и разуму рабочего. Политэкономия вручила человеку это оружие смерти — и он ударил им; он использовал конкуренцию, как лев использует свои когти и челюсти, чтобы убивать и пожирать. Как же, повторяю, внешняя случайность изменила природу человека, которого предполагают хорошим, и мягким, и общительным?

Виноторговец призывает к себе на помощь желе, магнит, моль [226], воду и яды; в сочетаниях, полученных от своего руководителя, он добавляет все это к разрушительным эффектам конкуренции. Откуда такая ярость? Оттуда, — говорите вы, — что его конкурент подает ему пример! А этого конкурента кто провоцирует? Другой конкурент. Когда мы рассмотрим общество, тогда мы обнаружим, что это масса, а в массе каждый человек, в особенности по молчаливому согласию своих страстей, гордыни, лени, жадности, недоверия, ревности организовал эту ненавистную войну.

Сгруппировав вокруг себя орудия труда, производственное сырье и рабочих, предприниматель должен обрести в продукте вместе с расходами, которые он понесет, сначала проценты своих капиталов, а затем прибыль. Именно в результате этого принципа ссуда под проценты в конце концов утвердилась, а выгода, рассматриваемая сама по себе, всегда считалась законной. В этой системе, поскольку даже полиция прошлого не замечала сокровенного противоречия ссуды под проценты, наемный работник, вместо того чтобы подчиняться непосредственно себе, должен был зависеть от своего начальника — как

вооруженный человек принадлежал графу, как племя — патриарху. Такое устройство отношений было необходимо, и до тех пор, пока не установится полное равенство, его могло хватить для благополучия всех. Но когда хозяин в своем беспорядочном эгоизме сказал служащему: ты от меня доли не получишь, и обрадовал его тем же трудом и зарплатой, где же фатальность, где оправдание? Придется ли еще, чтобы оправдать *аппетит похотливый*, отбрасывать нас к *аппетиту вспылчивому*? Остерегайтесь: отступая, чтобы оправдать человека в черед его похотей, вместо того чтобы спасти его нравственность, вы предаете ее. Что касается меня, то я предпочитаю виновного человека свирепому зверю. Природа сделала человека общительным: спонтанное развитие его инстинктов иногда делает его ангелом милосердия, иногда очаровывает его чувством братства и идеей преданности. Но существовал ли когда-нибудь капиталист, утомленный наживой, способствующий общему благу и сделавший освобождение пролетариата своей последней операцией? Это должны быть такие люди, фавориты успеха, у которых все есть, кроме короны благотворительности: но какой бакалейщик, разбогатец, начинает продавать по себестоимости? Какой пекарь, у которого столько дел, бросает свою клиентуру и заведение своим мальчикам-работникам? какой аптекарь, выйдя на пенсию, поставяет лекарства по себестоимости? Если у милосердия есть свои мученики, почему же у него нет своих поклонников? Если бы внезапно сформировался конгресс рантье, капиталистов и предпринимателей, проводящих реформы, но все еще пригодных для службы, чтобы безвозмездно заполнить определенное количество отраслей, общество за короткое время реформировалось бы снизу доверху. Но работать даром!... это от Винсента де Поля [227], Фенелона [228], от всех тех, чья душа всегда была отделена, а сердце бедно. Человек, обогатившись наживой, станет городским советником, членом благотворительного комитета, офицером приютов; он будет выполнять все почетные функции, кроме именно той, которая была бы эффективной, но противной его привычкам. Работать без надежды на прибыль! это невозможно, так как это будет означать самоуничтожение. Может быть, он и захочет; но у него не достанет смелости. *Video meliora proboque, deteriora sequor*. Собственник в отставке — это на самом деле тот филин из басни, который собирает плоды бука для своих искалеченных мышей, в ожидании, когда он сам же их и сожрет. Стоит ли еще обвинять общество в этих последствиях столь продолжительной, столь свободно, столь полно услаждаемой страсти?

Кто же тогда объяснит эту тайну множественного и разноголосого существа, способного как на высшие добродетели, так и на самые страшные преступления? Собака лижет своего хозяина, который бьет ее; потому что природа собаки — верность, и эта природа никогда не покидает ее. Агнец укрывается в объятиях пастыря, который в итоге обдирает и поедает его; потому что неотделимый характер овцы — кротость и покой. Конь мчится сквозь пламя и стрельбу, не касаясь своими быстрыми копытами раненых и мертвых, лежащих на его пути; потому что душа коня неистощима в своем великодушии. Эти животные — мученики во имя нас по своей постоянной и преданной природе. Но слуга, который защищает своего господина с риском для жизни, за небольшое количество золота предает и убивает его; целомудренная жена оскверняет постель в связи с отвращением или с отсутствием, и в Лукреции мы находим Мессалину; владелец, по очереди отец и тиран, приподнимает и восстанавливает своего разоренного фермера, и отвращает со своих земель свою слишком многочисленную семью, увеличенную по слову феодального договора; военный человек, зеркало и образец рыцарства, делает из трупов своих товарищей средство для собственного продвижения вперед. Эпаминондас [229] и Регулус [230] торгуют кровью своих солдат:

какие доказательства прошли перед моими глазами! и по ужасному контрасту профессия жертвоприношения наиболее плодотворна в трусости. У человечества есть свои мученики и отступники: чему, опять же, я приписываю этот раскол?

К антагонизму общества, говорите вы всегда; к состоянию разлуки, изоляции, вражды со своими ближними, в котором до сих пор жил человек; одним словом, к тому отчуждению его сердца, которое заставило его принять наслаждение за любовь, собственность за обладание, наказание за труд, пьянство за радость; к тому ложному сознанию, наконец, раскаяние которого не переставало преследовать его под именем *первородного греха*. Когда человек, примирившись с самим собой, перестанет смотреть на своего ближнего и на природу как на враждебные силы, тогда он будет любить и производить по спонтанности своей энергии; его страсть будет отдавать так же, как она сегодня приобретает; и он будет искать в труде и самоотверженности свое единственное счастье, свое высшее наслаждение. Тогда любовь станет истинно и безраздельно законом человека, справедливость останется лишь пустым именем, назойливым воспоминанием о периоде насилия и слез.

Разумеется, я не игнорирую ни факта антагонизма, или, как вам будет угодно назвать, религиозного отчуждения, ни необходимости примирения человека с самим собой; вся моя философия есть лишь вечность примирений. Вы признаете, что противоречие нашей природы является предпосылкой общества, скажем лучше, материей цивилизации. Это именно тот факт, но, заметьте, нерушимый факт, смысл которого я ищу. Конечно, мы были бы близки к взаимопониманию, если бы вместо того, чтобы рассматривать инакомыслие и гармонию человеческих способностей как два отдельных, отрезанных и последовательных периода в истории, вы согласились бы видеть в них, как и я, лишь две стороны нашей природы, всегда противоположные, всегда добивающиеся примирения, но никогда полностью не примиренные. Одним словом, поскольку индивидуализм — исконное качество человечества, то объединение — это дополнительный термин; но оба они находятся в непрерывном проявлении, и на земле справедливость вечно является условием любви.

Таким образом, догмат грехопадения есть не только выражение особого, преходящего состояния разума и человеческой морали: это спонтанное, в символическом стиле, оттого столь же удивительное, сколь и несокрушимое, исповедание вины в склонности ко злу нашего рода. Горе мне грешному, — восклицает со всех сторон и на всех языках сознание рода человеческого, *Vae nobis quia peccavimus!* (Горе нам, потому что мы согрешили!). Религия, конкретизируя и драматизируя эту идею, вполне могла перенести за пределы мира и на задворки истории то, что интимно и неотвратимо для нашей души; это было с ее стороны всего лишь интеллектуальным миражом: она не ошиблась в существенности и устойчивости факта. Значит, именно этот факт всегда является оправданием, и именно с этой точки зрения мы будем объяснять догмат о первородном грехе.

У всех народов были свои искупительные обычаи, покаянные жертвы, репрессивные и уголовные институты, рожденные ужасом и сожалением о грехе (первородства). Католицизм, который воздвигает теорию повсюду, где общественная спонтанность выражает идею или возлагает надежду, превращает в таинство как символическую, так и действенную церемонию, посредством которой грешник выражает свое покаяние, просит у Бога и людей прощения за свою вину и готовится к лучшей жизни. Поэтому я не сомневаюсь,

что Реформация, отвергая раскаяние, опираясь на слово «метанойя» [231], приписывая вере только добродетель, развенчивая, наконец, наказание, сделала шаг назад и полностью проигнорировала закон прогресса. Отрицать — еще не значит отвечать. Злоупотребления церкви призывали с этой точки зрения, как и многое другое, к реформе; теории наказания, проклятия, отпущения грехов и благодати содержали, если позволено так сказать, в скрытом состоянии, всю систему воспитания человечества; надо было развивать, подталкивать к рационализму эти теории: Лютер умел только разрушать. Предсмертное исповедание было деградацией покаяния, двусмысленной демонстрацией, замененной великим актом смирения; Лютер рассчитывая на папистское лицемерие, сократил первобытное исповедание перед Богом и людьми (*exomologouîmai tô théô kai humin, adelphoî*) до монолога. Христианский смысл, таким образом, был утрачен; и лишь три века спустя он был восстановлен философией.

Затем, поскольку христианство, то есть религиозное человечество, не могло ошибиться в РЕАЛЬНОСТИ факта, существенного для человеческой природы, того факта, который оно обозначило словами *изначального преступления*, давайте еще раз спросим христианство, человечество, о СМЫСЛЕ этого факта. Не будем удивляться ни метафоре, ни аллегории: истина не зависит от фигур (речи). А впрочем, что для нас есть истина, если не непрекращающийся прогресс нашего духа от поэзии к прозе?

И сначала давайте выясним, не будет ли эта своеобразная идея изначальной предначертанности иметь где-то в христианском богословии свою коррелятивность. Ибо истинная идея, родовая идея, не может быть результатом изолированного замысла; нужна серия.

Христианство, заложив в качестве первого термина догмат грехопадения, продолжило свою мысль, утверждая для всех, кто умирал в этом состоянии скверны, бесповоротное отделение от Бога, вечное мучение. Затем оно дополнило свою теорию, примиряя эти две противоположности догмой реабилитации или благодати, согласно которой всякая тварь, рожденная в ненависти к Богу, примиряется заслугами Иисуса Христа, которые вера и покаяние делают действенными. Таким образом, сущностная испорченность нашей природы и вечная кара, кроме искупления добровольным участием в жертве Христовой: такова в сумме эволюция богословской идеи. Второе утверждение является следствием первого; третье — отрицанием и преображением двух других: ведь изначальное зло нерушимо, а искупление, которое оно влечет, вечно, если только не появится высшая сила, которая посредством полного обновления разорвет эту участь и прекратит анафему.

Человеческий разум в своих религиозных фантазиях, как и в своих самых положительных теориях, всегда имеет только один метод: та же метафизика произвела христианские мистерии и противоречия политической экономии; вера, сама того не ведая, происходит из разума; и мы, исследователи божественных и человеческих проявлений, имеем право именем разума проверить гипотезы богословия.

Что же, таким образом, вселенский разум, сформулированный в религиозных догмах, увидел в человеческой природе, когда посредством столь точного метафизического построения он по очереди утверждал *неразумность* проступка, вечность наказания, необходимость

помилования? Завесы богословия начинают становиться настолько прозрачными, что она вполне напоминает естествознание.

Если мы предположим операцию, посредством которой высшее существо произвело все существа, уже не как эманацию, излияние созидательной силы и бесконечной субстанции, а как разделение или дифференциацию этой существенной силы, то каждое организованное или неорганизованное существо предстанет перед нами как специальный представитель одной из бесчисленных виртуальностей бесконечного бытия, как расщепление абсолюта; и совокупностью всех этих индивидуальностей (флюидов, минералов, растений, насекомых, рыб, птиц и четвероногих) будет творение, будет вселенная.

Человек, это резюме вселенной, суммирует и синкретирует в своем лице все виртуальности бытия, все расколы абсолюта; он — вершина, где эти виртуальности, существующие только в силу своего расхождения, объединяются в пучок, но не проникают друг в друга и не путаются. Человек, следовательно, одновременно, посредством этой агрегации, — дух и материя, спонтанность и размышление, механизм и живое, ангел и бес. Он гадкий клеветник, кровожадный, как тигр, обжорливый, как свинья, непристойный, как обезьяна; и преданный, как собака, великодушный, как лошадь, трудолюбивый, как пчела, моногамный, как голубь, общительный, как бобр и овца. Более того, он человек, то есть разумный и свободный, склонный к образованию и совершенствованию. Человек пользуется такими же именами, как Юпитер: все эти имена написаны на его лице; и в разнообразном зеркале природы его непогрешимый инстинкт умеет распознать их. Змея прекрасна с точки зрения разума; именно убеждение находит ее отвратительной и уродливой. Древние, как и современники, уловили эту конституцию человека путем агломерации всех земных виртуальностей: работы Галла и Лаватера [232] были, если можно так сказать, всего лишь попытками дезагрегирования человеческого синкретизма, а классификация, которую они составили из наших способностей, — сокращенной картиной природы. Человек, наконец, подобно пророку в львиной яме, действительно предан зверям; и если что-то и должно сообщить потомству о гнусном лицемерии нашего времени, так это то, что ученые, фанатичные спиритуалисты, верили, что служат религии и морали, искажая наш род и заставляя лгать анатомию.

Поэтому вопрос только в том, зависит ли от человека, невзирая на противоречия, которые множатся вокруг него постепенным распространением его идей, дать больший или меньший рост виртуальности, находящейся в его власти, или, как говорят моралисты, его страстям; другими словами, если, подобно древнему Гераклу, он сможет победить животное начало, которое его одолевает, адский легион, который, кажется, всегда готов его пожрать.

Однако всеобщее волеизъявление народов свидетельствует, как мы отмечали в главах III и IV, о том, что человек, невзирая на все его животные влечения, стремится к разуму и свободе, то есть вначале к способности оценивать и выбирать, а затем к силе действий, не равнодушной к добру и злу. Кроме того, мы обнаружили, что эти две способности, оказывающие друг на друга необходимое влияние, были способны к развитию, к бесконечному совершенствованию.

Общественная судьба, слово человеческой тайны, таким образом, заключено в этом:

Воспитание свободы, укрощение наших инстинктов, избавление или искупление нашей души — вот, как доказал Лессинг [233], смысл христианской тайны. Это воспитание будет происходить в течение всей нашей жизни и всей жизни человечества: противоречия политической экономии могут быть разрешены; сокровенное противоречие нашего бытия никогда не будет разрешено. Вот почему великие учителя человечества — Моисей, Будда, Иисус Христос, Зороастр — все были апостолами искупления, живыми символами покаяния. Человек по своей природе грешен, то есть по существу не *зловредный*, а скорее *нескладный* (плохо скроенный), и его предназначение — вечно воссоздавать в себе свой идеал. Именно это глубоко чувствовал величайший из художников Рафаэль, когда говорил, что искусство состоит в том, чтобы делать вещи не такими, как их сделала природа, а такими, какими ей следовало их сделать.

Так что это мы должны отныне учить богословов, ибо только мы продолжаем традицию Церкви, только мы обладаем смыслом Священного писания, Соборов и Отцов. Наше толкование опирается на все, что есть наиболее определенное и достоверное, на самый высокий авторитет, который может быть у людей, на метафизическое строение идей и фактов. Да, человек порочен, потому что нелогичен, потому что его конституция — всего лишь эклектика, постоянно удерживающая в борьбе виртуальности бытия, независимо от общественных противоречий. Жизнь человека — это лишь непрерывная сделка между трудом и горем, любовью и наслаждением, справедливостью и эгоизмом; а добровольная жертва, которую человек совершает по велению своих худших побуждений, — это крещение, которое готовит его примирение с Богом, которое делает его достойным Блаженного Союза и вечной благодати.

Таким образом, цель общественной экономики, неуклонно обеспечивающей порядок в труде и способствующей воспитанию вида, состоит в том, чтобы сделать как можно больше посредством равенства, излишнего милосердия, того милосердия, которое не умеет повелевать своими рабами; или, лучше сказать, вытянуть, как цветок из его стебля, милосердие из справедливости. Эй! если бы милосердие имело силу создать счастье среди людей, оно давно привело бы свои доказательства; а социализм, вместо того чтобы искать, как организовать труд, должен был бы только сказать: берегитесь, вам не хватает благотворительности.

Но, увы! Милосердие в человеке скудное, постыдное, слабое и безразличное; чтобы действовать, ему нужны эликсиры и ароматы. Вот почему я придерживался тройной догмы преступления, проклятия и искупления, то есть совершенства по справедливости. Свобода здесь всегда нуждается в помощи, и католическая теория небесных милостей дополняет эту слишком реальную демонстрацию несчастий нашей природы.

Благодать, говорят богословы, это в порядке спасения — всякая помощь или средство, способное привести нас к вечной жизни. — То есть человек совершенствуется, цивилизуется, очеловечивается не иначе, как непрерывным спасением опыта, промышленностью, наукой и искусством, наслаждением и скорбью, словом — всеми упражнениями тела и духа.

Есть *обычная* благодать, именуемая также *оправдывающей* и *освящающей*, которая мыслится как качество, пребывающее в душе, заключающее в себе вселенные добродетели и дары Святого Духа и то, которое не отделимо от милосердия. — Иными словами, обычная благодать — символ преобладающих притяжений добра, которые ведут человека к порядку и любви, в центре которых ему удастся укротить свои дурные наклонности и остаться хозяином в своем пространстве. Что же касается *современной* благодати, то она указывает на внешние средства, способствующие расцвету чувств порядка и служащие для борьбы с подрывными страстями.

Благодать, по мнению Святого Августина, по существу безвозмездна, и предшествует в человеке греху. Боссюэ [234] выразил ту же мысль в своем стиле, полном поэзии и нежности: *когда Бог со творил внутреннее содержание человека, он прежде всего вложил в него доброту*. — Действительно, первое определение свободы воли заключается в этой природной *доброте*, посредством которой человек непрестанно побуждается к порядку, труду, учебе, скромности, милосердию и жертвенности. Поэтому святой Павел, не нападая на свободную волю, мог сказать, что во всем, что связано с исполнением добра, *Бог действует в нас желанием и действием*. Ибо все святые устремления человека находятся в нем еще до того, как он мыслит и чувствует; и смятение сердца, которое он испытывает, когда насилует их, восторг, который переполняет его, когда он подчиняется им, все приглашения, наконец, исходящие к нему от общества и его воспитания, не принадлежат ему.

Когда благодать такова, что воля с ликованием и любовью без колебаний и бесповоротно устремляется к добру, она называется *действенной*. — Все видели такие душевные проявления, которые провоцируют вдруг акт героизма. Свобода не погибает в ней; но, по ее предопределениям, можно сказать, что она была неизбежна, чтобы так решиться. И пелагианцы [235], лютеране и другие ошибались, говоря, что благодать подрывает свободную волю и убивает ее созидательную силу; поскольку все определения воли обязательно исходят или от общества, которое ее поддерживает, или от природы, которая открывает ему поприще и показывает ему его предназначение.

Но, с другой стороны, августины, томисты, конгруисты, Янсениус, П. Томассен, Молина и т.д. странным образом презирали друг друга, когда, поддерживая одновременно и свободу воли, и благодать, не видели, что между этими двумя терминами существует такая же связь, как между веществом и образом, и когда признали оппозицию, которая не существует. Необходимо, чтобы свобода, как и разум, как всякое вещество и сила, определялась, то есть имела свои состояния и атрибуты. Однако, в то время как в этом вопросе образ и атрибут присущи веществу, будучи современными веществу; в свободе режим дается тремя, так сказать, внешними агентами: человеческой сущностью, законами мышления, упражнениями или воспитанием. *Благодать*, наконец, как и ее противоположность, *искушение*, указывает на сам факт определения свободы.

В итоге все современные представления о воспитании человечества являются лишь интерпретацией, философией католической доктрины благодати, доктрины, которая не показалась ее авторам туманной только из-за их представлений о свободе воли, которая, по их мнению, угрожала, как только говорили о благодати или источнике ее определений.

Напротив, мы утверждаем, что свобода, сама по себе безразличная ко всяким условиям, но предназначенная действовать и формироваться в соответствии с заранее установленным порядком, получает свой первый импульс от Творца, который внушает ей любовь, разум, мужество, решимость и все дары Святого Духа, а затем предает ее работе опыта. Отсюда следует, что благодать необходимо *первозданна*, что без нее человек не способен ни на какие блага, и что тем не менее свобода воли самопроизвольно, с обдумыванием и выбором, исполняет свое предназначение. Во всем этом нет ни противоречия, ни тайны. Человек как человек хорош; но, как и тиран, изображенный Платоном, который тоже был «доктором» благодати, человек несет в себе тысячу чудовищ, которых должен одолеть культ справедливости и науки, музыки и гимнастики, все милости случая и состояния. Исправьте какое-нибудь определение в святом Августине, и все это учение о благодати, прославленное спорами, которые вызвали и сбили с толку Реформацию, покажется вам сияющим ясностью и гармонией.

А теперь человек — это Бог?

Бог, согласно богословской гипотезе, является суверенным, абсолютным, высоко синтетическим существом, бесконечно мудрым и свободным и, следовательно, непреходящим и святым; разумно, что человек, синкретизм творения, точка объединения всех физических, органических, интеллектуальных и моральных виртуальностей, проявленных творением; совершенствующийся и подверженный ошибкам человек не удовлетворяет условиям Божественности, которые природа его разума предполагает. Он не Бог, он не сможет, в процессе бытия, стать Богом.

Более того, дуб, лев, Солнце, сама вселенная, осколки абсолюта, не являются Богом. Таким же образом ниспровергаются антрополатрия и физиолатрия.

Теперь речь идет об обратном испытании этой теории.

С точки зрения социальных противоречий мы оценили нравственность человека. Мы, в свою очередь, оценим и с той же точки зрения мораль Провидения. Иными словами, возможен ли Бог, которого умозрение и вера предают поклонению смертным?

§ II. Описание мифа о Провидении. Отступление Бога

Из числа трех доказательств, которые у теологов и философов принято приводить в пользу существования Бога, ставят на первое место всеобщее согласие.

Я учел этот аргумент, когда, не отвергая и не признавая его, немедленно задался вопросом: Что, утверждая Бога, утверждает всеобщее согласие? И в связи с этим я должен напомнить, что различие религий не является свидетельством той ошибки, в которую впал человеческий род, утверждая вне себя высшее Я, равно как и разнообразие языков не является свидетельством нереальности разума. Гипотеза о Боге, отнюдь не ослабевая, тем не менее укрепляется и ослабляется самим расхождением и противопоставлением культов.

Аргумент иного рода тяготеет к миропорядку. В связи с этим я заметил, что природа, спонтанно утверждающая человеческим голосом свое собственное различие в духе и материи, — остается выяснить, управляет ли бесконечный дух, мировая душа, в своей смутной интуиции, вселенной, как и сознанием, — говорит нам, что дух одушевляет человека. Если таким образом, — добавил я, — порядок был безошибочным показателем присутствия духа, то во вселенной нельзя было не признать присутствия Бога.

К сожалению, это не доказано и не может быть доказано. Ибо, с одной стороны, чистый дух, сконструированный в противоположность материи, есть противоречивая сущность, о реальности которой ничто, следовательно, не может свидетельствовать.

С другой стороны, некоторые упорядоченные сами в себе сущности, такие как кристаллы, растения, планетная система, которые в ощущениях, которые они заставляют нас испытывать, не вызывают у нас, подобно животным, чувство ради чувства, кажутся нам совершенно лишенными сознания, и оснований располагать разум в центре мира существует не больше, чем предполагать его в спичке; и может случиться так, что если разум, сознание, где-то и существует, то только в человеке.

Однако если мировой порядок не может ничего сообщить о существовании Бога, он открывает, возможно, не менее ценную вещь, которая послужит нам вехой в наших исследованиях: это то, что все существа, все сущности, все явления прикованы друг к другу совокупностью законов, вытекающих из их свойств, вместе названных мною (гл. III) *неизбежностью* или *необходимостью*. Что, следовательно, существует бесконечный разум, охватывающий всю систему этих законов, все поле фатальности; что с этим бесконечным

разумом объединяется в сокровенном проникновении высшая воля, вечно определяемая совокупностью космических законов и потому бесконечно могущественная и свободная; что, наконец, эти три вещи — фатальность, разум, воля — современны и адекватны друг другу во Вселенной, и идентичны: ясно, что до сих пор мы не находим ничего противоречащего; но именно эту гипотезу, именно этот антропоморфизм еще предстоит продемонстрировать.

Таким образом, в то время как свидетельство рода человеческого открывает нам Бога, не говоря о том, каким может быть этот Бог; мировой порядок открывает нам неизбежность, то есть абсолютный и непреложный набор причин и следствий, одним словом, систему законов, которая была бы, если бы Бог существовал как вид и знание этого Бога.

Третье и последнее доказательство существования Бога, предложенное теистами и названное ими метафизическим доказательством, есть не что иное, как тавтологическое построение категорий, которое абсолютно ничего не доказывает.

Что-то существует, значит, существует что-то.

Что-то множественно, значит, что-то одно.

Что-то происходит после чего-то, значит, что-то предшествует чему-то.

Что-то меньше или больше, чем что-то, значит, что-то больше, чем все остальное.

Что-то движется, значит, что-то является движущей силой,

и т. д., до бесконечности.

Это то, что до сих пор называется на факультетах и конференциях, со слов министра народного просвещения и монсеньеров епископов, — приводить метафизическое доказательство существования Бога. Вот то, что элита французской молодежи обречена блеять вслед за своими преподавателями, в течение года, под страхом не получить диплом и с невозможностью изучать право, медицину, политехнику и науки. Конечно, если что и должно удивлять, так это то, что с такой философией Европа еще не атеистична. Упорство теистической идеи рядом с тарабарщиной школ и величайшим из чудес; она образует сильнейший предрассудок, на который можно ссылаться во славу Божества.

Я не знаю, что человечество называет Богом.

Я не могу сказать, человек ли это, вселенная, или какая-то другая невидимая реальность, которую под этим именем следует понимать; или это слово выражает только идеал, сущность разума.

Однако, чтобы воплотить в жизнь мою гипотезу и мои исследования, я буду рассматривать Бога, следуя тривиальному мнению, как отдельное существо, присутствующее повсюду, отдельное от творения, наделенное нетленной жизнью, как бесконечной наукой и деятельностью, но все предвидящее и справедливое, карающее порок и вознаграждающее добродетель. Я отброшу пантеистическую гипотезу, как лицемерную и бездушную. Бог — личный, или его нет: эта альтернатива — аксиома, из которой я выведу всю свою теодицею.

Таким образом, для меня сейчас, — чтобы не заботиться о вопросах, которые могут возникнуть в будущем в связи с идеей Бога, — важно знать, с учетом фактов, которые я

видел в обществе, что я должен думать о поведении Бога, как это предлагается в моей вере, и относительно человечества. Словом, именно с точки зрения доказанного существования зла я хочу с помощью новой диалектики прощупать, изучить Высшее существо.

Зло существует: по этому вопросу сейчас все, кажется, согласны.

Так вот, спрашивали стоики, эпикурейцы, манихеи [236], атеисты, как соотносить присутствие зла с идеей суверенно доброго, мудрого и могущественного Бога? Как же тогда Бог, то ли беспомощный, то ли нерадивый, то ли злой, позволив злу проникнуть в мир, мог возложить ответственность за их поступки на создания, которых он сам создал несовершенными, и тем самым предал всем опасностям их тяготений? Как, наконец, поскольку он обещает праведникам после смерти неизбывное блаженство, или, другими словами, поскольку он дает нам идею и желание счастья, но не дает нам наслаждаться им уже в этой жизни, заставляя нас радоваться искушению зла, вместо того чтобы подвергать нас вечным мучениям?

Таково, в своем старинном составе, содержание протеста атеистов.

Сегодня почти не спорят: теисты больше не беспокоятся о логических несоответствиях своей системы. Нам нужен Бог, Провидение прежде всего: по этому пункту идет конкуренция между радикалами и иезуитами. Социалисты проповедуют во имя Бога счастье и добродетель; в школах те, кто выступают сильнее всего против Церкви, являются первыми из мистиков.

Древние теисты больше заботились о своей вере. Они стремились если не продемонстрировать ее, то, по крайней мере, сделать ее разумной, прекрасно чувствуя в отношении своих преемников, что без убежденности нет для верующего ни достоинства, ни покоя.

Поэтому отцы Церкви отвечали неверующим, что зло — это лишь *лишение большего блага*, и что в рассуждениях о *лучшем* не хватает точки опоры, на которой можно было бы закрепиться, что ведет прямо к абсурду. Поскольку всякое творение обязательно ограничено и несовершенно, Бог в своем бесконечном могуществе может непрестанно прибавлять к своим совершенствам: в этом отношении всегда, в той или иной степени, в творении есть лишение блага. И наоборот, настолько несовершенно и ограниченное творение, как предполагают, с момента своего существования оно пользуется определенной степенью блага, лучшей для него, нежели небытие. Поэтому, если есть правило, по которому человек считается добрым до тех пор, пока он творит все добро, которое он может творить, то это не так в случае с Богом, так как обязанность бесконечно творить добро противоречива в самой способности творить: совершенство и творение — два термина, которые необходимо взаимоисключительны. Таким образом, Бог был единственным судьей той степени совершенства, которую надлежало дать каждому творению: выдвинуть в этом отношении обвинение против него — значит оклеветать его справедливость.

Что же касается греха, то есть нравственного зла, то у Отцов были в ответ на возражения

атеистов теории свободы воли, искупления, оправдания и благодати, к которым нам больше не придется возвращаться.

У меня нет понятия о том, что атеисты категорически возразили этой теории несовершенства, присущего творению, — теории, ярко воспроизведенной г-ном де Ламенне в его «Эскизе» [237]. На самом деле они не могли ответить; ибо, рассуждая согласно ошибочному представлению о зле и свободной воле и в глубоком неведении законов человечества, им также не хватало причин ни для того, чтобы восторжествовать над своим сомнением, ни для того, чтобы опровергнуть верующих.

Выйдем из сферы конечного и бесконечного и разместимся в концепции порядка. Может ли Бог сделать круглый круг, квадрат с прямыми углами? — Несомненно.

Был бы Бог виноват, если бы, сотворив мир по законам геометрии, он ввел нас в разум или только позволил нам поверить — без того, чтобы это было нашей ошибкой, что круг может быть квадратным, или квадрат круглым, и это ложное мнение должно было привести нас к неисчислимой череде зла? — Без сомнения, еще раз.

Ну вот! вот как раз то, что сделал Бог, Бог Провидения, в управлении человечеством; вот в чем я его обвиняю. Он знал из всей вечности, — так как после шести тысяч лет мучительного опыта мы, смертные, это сами обнаружили, — что порядок в обществе, то есть свобода, богатство, наука, достигается путем примирения противоположных идей, каждая из которых, в частности, считается абсолютной, должны были ввергнуть нас в пучину страданий: почему он не предупредил нас? Почему он с самого начала не выправил наше суждение? Почему он оставил нас с несовершенной логикой, особенно когда наш эгоизм должен был позволить себе несправедливость и коварство? Он знал, этот ревнивый Бог, что, предавая нас рискам опыта, мы поздно обретем ту безопасность жизни, которая составляет все наше счастье: почему, когда мы открыли собственные законы, он не сократил это долгое обучение? Почему, вместо того чтобы увлечь нас противоречивыми взглядами, он не перевернул опыт, проведя нас путем анализа от синтетических идей к антиномиям, вместо того, чтобы позволить нам мучительно взбираться на крутую вершину от антиномии к синтезу?

Если, как ранее думали, зло, от которого страдает человечество, происходит только от неизбежного несовершенства во всяком творении; скажем лучше, если бы это зло было причиной только антагонизма возможностей и желаний, составляющих наше существо, и разум должен научить нас владеть и управлять, мы не имели бы права жаловаться. Так как наше условие было таким, каким оно могло быть, Бог будет оправдан.

Но перед этой невольной иллюзией нашего понимания, иллюзией, которую так легко было развеять, и последствия которой должны были быть столь ужасны, где оправдание Провидения? Не правда ли, что здесь благодать миновала человека? Бог, которого вера представляет как нежного отца и благоразумного учителя, предает нас фатальности наших незавершенных замыслов; он роет ров под нашими ногами; он заставляет идти нас вслепую; и потом, при каждом падении, он обвиняет нас в злодействе. Что я говорю? кажется, несмотря на него, что в конце всего пути мы узнаем свою дорогу; это как если оскорбить его славу, став, через испытания, которые он налагает на нас, умнее и свободнее. Что же нам,

таким образом, нужно непрестанно требовать от Божества, и чего хотят от нас эти спутники Провидения, которое вот уже шестьдесят веков с помощью тысячи религий обманывает и сбивает нас с толку?

Что! Бог своими вестниками и законом, который он вложил в наши сердца, повелевает нам любить ближнего, как самих себя, поступать с другими так, как мы хотим, чтобы поступали с нами, отдавать каждому то, что ему причитается, не жульничать с заработной платой рабочего, не давать займы ростовщичеству; к тому же он знает, что милосердие в нас едва теплится, совесть колеблется, и что малейший предлог всегда кажется нам достаточным основанием для освобождения нас от закона: и именно с подобными положениями он втягивает нас в противоречия торговли и собственности, где, по неизбежности теорий, должны неизбежно погибнуть милосердие и справедливость! Вместо того, чтобы просвещать наш разум о сфере принципов, которые располагаются в этой сфере со всей властью необходимости, но последствия которых, утверждаемые эгоизмом, смертельны для человеческого братства, он ставит этот обманутый разум на службу нашей страсти; он разрушает в нас обольщением духа равновесие совести; он оправдывает в наших собственных глазах наши присвоения и скупость; он делает неизбежным, законным отделение человека от себе подобного; он создает между нами разделение и ненависть, делая невозможным равенство трудом и правом; он заставляет нас верить, что это равенство, закон мира, несправедливо между людьми: и потом он массово нас изгоняет за то, что мы не умеем исполнять его непонятные предписания! Конечно, я думаю, что доказал, что отказ от Провидения не оправдывает нас; но, каким бы ни было наше преступление, мы не виновны перед ним; и если есть существо, которое прежде нас и более, чем мы, заслужило ад, то я должен назвать его Богом.

Когда теисты, чтобы установить свой догмат Провидения, утверждают в качестве доказательства природный порядок; и хотя этот аргумент является лишь принципиальным заявлением, все же нельзя сказать, что он подразумевает противоречие, и что приводимый факт противоречит гипотезе. Ничто, например, в системе мира не обнаруживает мельчайшей аномалии, легчайшей незапланированности, из которой можно почерпнуть какое-нибудь предубеждение против идеи высшего, личного разумного движителя. Одним словом, если природный порядок не доказывает реальность Провидения, он не противоречит ему.

Совсем другое дело в управлении человечеством. Здесь порядок не появляется одновременно с материей; он не был, как в системе мира, создан раз и навсегда. Он развивается постепенно в соответствии с судьбоносным рядом принципов и следствий, которые само человеческое существо, существо, которому он предназначался, должно извлекать самопроизвольно, с помощью собственной энергии и под воздействием опыта. Никаких откровений в этом отношении ему не дано. Человек с самого на чала подчинен заранее установленной необходимости, абсолютному и непреодолимому порядку. Но чтобы этот порядок осуществился, нужно, чтобы человек его открыл (обнаружил); чтобы эта необходимость существовала, он должен ее угадать. Эту работу по изобретению можно было бы сократить: никто, ни на небе, ни на земле, не придет на помощь человеку; никто не научит его. Человечество на протяжении сотен веков будет поглощать свои поколения; оно истощится в крови и грязи, если Бог, которому оно поклоняется, ни разу не придет, чтобы просветить его разум и сократить его испытание. Где здесь божественное действие? где

провидение?

«Если бы Бога не существовало, — это говорит Вольтер, враг религий, — его следовало бы изобрести». — Почему? — «Потому что, — добавляет тот же Вольтер, — если бы я имел дело с князем-атеистом, который был бы заинтересован в том, чтобы меня истолкли в ступе, я, конечно, был бы истолчен». Странная аберрация великого ума! А если бы вы имели дело с набожным князем, которому его исповедник повелел бы от имени Бога сжечь вас заживо, разве вы не были бы уверены, что тоже были бы сожжены? Забудете ли вы инквизицию и Святого Варфоломея [238], и костры Ванини [239] и Бруно, и пытки Галилея, и мученическую гибель стольких свободных мыслителей?... Не пытайтесь здесь различать использование и злоупотребление: ибо я возразил бы вам, что из мистического и сверхъестественного принципа, который все охватывает, все объясняет, все оправдывает, как идея Бога, что все следствия правомерны, и что усердие верующего является единственным судьей.

«Я когда-то верил, — говорит Руссо, — что можно быть честным человеком и обходиться без Бога: но я отвернулся от этой ошибки». То же самое рассуждение в глубине души, что и у Вольтера, то же оправдание нетерпимости: человек творит добро и воздерживается от зла только по мотивам Провидения, которое следит за ним: анафема тем, кто его отрицает! И, как бы то ни было, тот же человек, который таким образом требует за нашу добродетель наказания воздающего и мстительного Божества, является и тем, кто проповедует в качестве догмата веры прирожденную доброту человека.

А я говорю: первая обязанность умного и свободного человека — непрестанно изгонять идею Бога из своего ума и совести. Ибо Бог, если он существует, по существу враждебен нашей природе, и мы никоим образом не подпадаем под его власть. Мы приходим к науке, невзирая на него, к благополучию, невзирая на него, к обществу, невзирая на него: каждое наше достижение — это победа, в которой мы сокрушаем Божество.

Пусть больше не говорят: неисповедимы пути Господа! Мы проникли в них и в характере пролитой крови прочитали доказательства бессилия, если не злого умысла Бога. Мой разум, длительное время униженный, постепенно поднимается до уровня бесконечности; со временем он откроет все, что скрывает от него неопытность; со временем я стану все меньше и меньше создателем несчастий, и благодаря просвещению, которое я обрету, совершенствуя свою свободу, я очищусь, идеализирую свое существо и стану главой творения, равным Богу. Одно мгновение беспорядка, которое мог предотвратить и которое не стал предотвращать Всевышний, обвиняет его провидение и ставит под сомнение его мудрость: малейший прогресс, который человек, невежественный, покинутый и преданный, совершает в направлении к добру, безмерно его возвышает. По какому праву Бог сказал бы мне: *Будь свят, потому что я свят?* Лживый дух, отвечу я ему, глупый Бог, кончилось твое царствование; ищи другие жертвы среди зверей. Я знаю, что я не являюсь и никогда не стану святым; а как же ты им будешь, если я похож на тебя? Вечный отец, Юпитер или Иегова, мы узнали тебя: ты есть, ты был, ты навсегда будешь ревновать Адама, тиранить Прометея.

Таким образом, я не впадаю в софизм, опровергнутый святым Павлом, когда он запрещает вазе сказать гончару: почему ты сделал меня такой? Я не упрекаю автора вещей в том, что он сделал из меня негармоничное существо, бессвязный комплект; я мог существовать

только в таком виде. Я просто кричу ему: почему ты лжешь мне? Почему своим молчанием ты разжег во мне эгоизм? Почему ты подверг меня пытке вселенского сомнения, горькой иллюзии антагонистических идей, которые ты вложил в мое понимание? Сомнения в истине, сомнения в справедливости, сомнения в моем сознании и свободе, сомнения в тебе — о, Боже! и, как следствие этого сомнения, необходимость войны с самим собой и со своим ближним! Вот, Высший отец, что ты сделал для нашего счастья и для своей славы; вот каковы были, с самого начала, твоя воля и твое правление; вот хлеб, смешанный с кровью и слезами, которым ты нас кормил. Грехи, за которые мы просим твоего прощения, — это ты заставляешь нас совершать их; ловушки, от которых мы заклинаем тебя избавить, — это ты их расставляешь; и сатана, который осаждает нас, этот Сатана — это ты.

Ты торжествовал, и никто не смел перечить тебе, когда, терзая телом и душой праведного Иова, образ нашего человечества, ты надругался над его искренним благочестием, его сдержанным и благоговейным невежеством. Мы были как новорожденные перед твоим невидимым величием, которому мы отдали небо как балдахин, и землю — как скамью. А теперь ты свергнут и разбит. Твое имя, бывшее так долго последним словом ученого, решением судьи, силой князя, надеждой бедняка, прибежищем кающегося грешника, и...! это непередаваемое имя, отныне обреченное на презрение и анафему, будет освищено среди людей. Потому что Бог — это глупость и трусость; Бог — лицемерие и ложь; Бог — тирания и нищета; Бог — это зло. Пока человечество будет преклоняться перед алтарем, человечество, раб царей и жрецов, будет осуждено; пока человек во имя Бога получит клятву другого человека, общество будет основано на лжесвидетельстве, мир и любовь будут изгнаны из смертных. Бог, отойди! ибо отныне, излечившись от страха тебя и став мудрым, клянусь, простертой к небу рукой, что ты — всего лишь палач моего разума, призрак моей совести.

Поэтому я отрицаю господство Бога над человечеством; я отвергаю его провиденциальное управление, небытие которого в достаточной мере установлено метафизическими и экономическими галлюцинациями человечества, одним словом — мученической смертью нашего рода; я отказываюсь от юрисдикции Высшего существа над человеком; я лишаю его званий отца, царя, судьи, доброго, милостивого, милосердного, милосердного, воздающего и мстящего. Все эти атрибуты, из которых состоит идея Провидения, — всего лишь карикатура на человечество, непримиримая с самостоятельностью цивилизации и к тому же опровергнутая историей ее aberrаций и катастроф. Следует ли из этого — поскольку Бог уже не может быть признан как Провидение, поскольку мы отнимаем у него этот атрибут, столь важный для человека, — что он без колебаний сделал его синонимом Бога, что Бога нет, и что ложность богословского догмата, что касается реальности его содержания, уже сейчас доказана?

Увы! Нет. Предубеждение относительно божественной сущности было уничтожено; таким же образом обнаруживается независимость человека: вот и все. Реальность божественного бытия осталась вне пределов досягаемости, и наша гипотеза все еще остается. Продемонстрировав, в случае с Провидением, что невозможно, чтобы был Бог, мы сделали в определении идеи Бога первый шаг: теперь речь идет о том, согласуется ли эта первая данность с тем, что осталось от гипотезы, — следовательно, в той же точке разума определить, что Бог есть, если он есть.

Ибо, как и после того, как мы установили виновность человека под влиянием экономических противоречий, мы должны были оправдать эту вину, под страхом искалечить человека и сделать его лишь презренным сатиром; так же, после того, как мы признали химеру провидения в Боге, мы должны искать, как это отсутствие провидения согласуется с идеей суверенного разума и суверенной свободы под угрозой провала предложенной гипотезы, и того, что ничто еще не оказывается ложным.

Поэтому я утверждаю, что Бог, если он Бог, не похож на чучела, которые делали из него философы и священники; что он не мыслит и не действует в соответствии с законом анализа, предвидения и прогресса, который является отличительной чертой человека; что, напротив, он, по-видимому, идет обратным, ретроградным путем; что интеллект, свобода, личность в Боге сформированы иначе, чем в нас; и что это совершенно мотивированное своеобразие природы делает из Бога существо антицивилизирующее, антилиберальное, античеловеческое.

Я доказываю свое предложение, идя от негатива к позитиву, то есть выводя истину из моего тезиса о прогрессе возражений.

1) Бог, говорят верующие, может быть признан только как бесконечно добрый, бесконечно мудрый, бесконечно могущественный и т. д.: вся литания бесконечностей. Так вот, бесконечное совершенство не может примириться с данностью безразличного или даже реакционного отношения к прогрессу: следовательно, или Бога не существует, или возражение, взятое из развития антиномий, доказывает лишь неведение, в котором мы являемся тайнами бесконечного. Я отвечаю на эти рассуждения, что если для того, чтобы узаконить совершенно произвольное мнение, достаточно отвергнуть непостижимость тайн, то я так же люблю тайну Бога без провидения, как и тайну безуспешного Провидения. Но при наличии фактов нет необходимости ссылаться на подобную вероятность; следует придерживаться положительной констатации опыта. Однако опыт и факты свидетельствуют о том, что человечество в своем развитии подчиняется непреклонной необходимости, законы которой возникают и система которой реализуется по мере того, как коллективный разум обнаруживает ее, и ничто в обществе не свидетельствует ни о внешнем подстрекательстве, ни о провиденциальной заповеди, ни о каких-либо сверхчеловеческих мыслях. То, что заставило поверить в Провидение, — это та самая необходимость, которая как бы является основой и сутью коллективного человечества. Но эта необходимость, какой бы систематической и прогрессивной она ни являлась, не устанавливает от того ни в человечестве, ни в Боге провидения; достаточно, чтобы убедиться в этом, вспомнить бесконечные колебания и мучительные попытки, посредством которых проявляется социальный порядок.

2) Другие спорщики встают поперек и восклицают: к чему эти непонятные поиски? Нет большего бесконечного разума, чем Провидение; нет во вселенной ни «я», ни воли, кроме человека. Все, что случается, как злого, так и доброго, обязательно случается. Непреодолимый набор причин и следствий охватывает человека и природу в одной и той же неизбежности; и то, что мы называем в себе сознанием, волей, суждением и т. д., — лишь отдельные случаи всего вечного, неизменного и фатального.

Этот аргумент является обратным предыдущему. Он состоит в том, чтобы заменить идею

всесильного и мудрого автора идеей необходимой и вечной, но бессознательной и слепой координации. Это противопоставление уже заставляет нас предчувствовать, что диалектика материалистов не тверже, чем диалектика верующих.

Кто говорит о необходимости или неизбежности, тот говорит об абсолютном и нерушимом порядке; кто же, напротив, говорит о потрясениях и беспорядке, тот утверждает все, что противоречит неизбежности. Так вот, в мире есть беспорядок — беспорядок, производимый расцветом спонтанных сил, которые не сдерживает никакая власть: как это может быть, если все неизбежно? Но кто же не видит, что эта старая вражда теизма и материализма исходит из ложного понятия свободы и неизбежности, двух терминов, которые считались противоречивыми, в то время как на самом деле их нет! Если человек свободен, сказали одни, то Бог тем более свободен, а неизбежность — лишь слово; — если в природе все связано, подхватили другие, нет ни свободы, ни Провидения: и каждый в недоумении рассуждал в том направлении, которого он придерживался, так и не сумев понять, что это так называемое противопоставление свободы и неизбежности было лишь естественным, но не прямо противоположным различием фактов действительности с фактами разума.

Неизбежность — это абсолютный порядок, закон, кодекс, *фатум* образования Вселенной. Но хотя этот кодекс сам по себе исключает идею верховного законодателя, он предполагает ее настолько естественно, что вся древность не колебалась в том, чтобы это признать: и весь вопрос сегодня заключается в том, предшествовал ли, как полагали основатели религий, во Вселенной законодатель закону, то есть, предшествует ли интеллект неизбежности, — или, как этого желают современники, закон предшествует законодателю, иными словами — рождается ли разум из природы. ДО или ПОСЛЕ, эта альтернатива обобщает всю философию. Спорим ли мы о предшествовании разума, или его возникновении впоследствии, в добрый час: но отрицаем ли мы его во имя неизбежности, это исключение, которое ничем не оправдано, и достаточно, чтобы опровергнуть его, напомнить о самом факте, на котором оно основано, — о существовании зла.

Система мира является производной от данных — материи и притяжения: вот что неизбежно. Из двух взаимосвязанных и противоречивых идей должна следовать одна композиция: вот что еще неизбежно. То, что претит (противоречит) неизбежности, — это не свобода, назначение которой, напротив, состоит в том, чтобы обеспечить в определенной сфере исполнение неизбежности: это беспорядок, это все, что мешает исполнению закона. Существует ли — да или нет — беспорядок в мире? Фаталисты этого не отрицают, так как по самой странной оплошности именно присутствие зла сделало их фаталистами. Так вот, я говорю, что присутствие зла, отнюдь не свидетельствующее о неизбежности, нарушает неизбежность, совершает насилие над судьбой и предполагает причину, существование которой — неправильное, но добровольное, — находится в несоответствии с законом. Эта причина, я ее называю свободой; и я доказал (гл. IV) что свобода, равно как и разум, который в человеке служит факелом, тем более великая и совершенная чем она лучше гармонирует с порядком природы, каковой есть неизбежность.

Таким образом, противопоставить неизбежность свидетельству сознания, которое чувствует себя свободным, и *vice versa* (наоборот) — значит доказать, что мы воспринимаем идеи в обратном направлении, и что у нас нет ни малейшего понимания вопроса. Прогресс человечества может быть определен воспитанием разума и человеческой свободы через

неизбежность: абсурдно смотреть на эти три термина как исключаящие друг друга и непримиримые, когда на самом деле они поддерживают друг друга; неизбежность служит основой, разум приходит после, и свобода венчает сооружение. Именно познать и пронизать неизбежность стремится человеческий разум; именно к соглашению с ней стремится свобода: а критика спонтанного развития и инстинктивных верований человеческого рода, которой мы сейчас предаемся, по сути, является лишь изучением неизбежности. Объясним это.

Человек, одаренный деятельностью и умом, имеет власть нарушать порядок мира, частью которого он является. Но все его отклонения были предвиденными и совершаются в определенных границах, которые после ряда выходов и приходов возвращают человека к порядку. Именно по этим колебаниям свободы можно определить роль человечества в мире; а так как судьба человека связана с судьбой созданий, то от него можно вернуться к высшему закону вещей и к истокам бытия.

Поэтому я больше не буду спрашивать: откуда у человека власть нарушать порядок Провидения и почему Провидение это позволяет? Я ставлю вопрос в другой терминологии: каким образом человек, неотъемлемая часть Вселенной, произведенный неизбежностью, обладает силой нарушать неизбежность? почему неизбежная организация, организация человечества, оказывается случайной, нелогичной, полной суматохи и катастроф? Неизбежность совершается не за час, не в течение века, не в тысячу лет: почему наука и свобода, если неизбежно, что они у нас появились, не появились раньше? Ибо, пока мы страдаем от ожидания, неизбежность находится в противоречии с самой собой; с учетом присутствия зла нет большей неизбежности, чем Провидение. Что такое, одним словом, неизбежность, опровергаемая с каждым мгновением фактами, происходящими в ее утробе? Вот что фаталисты обязаны объяснить, точно так же, как теисты обязаны объяснить, что может быть бесконечным разумом, который не умеет ни предвидеть, ни предотвращать несчастья своих созданий.

Но это не все. Свобода, разум, неизбежность являются, по существу, тремя адекватными выражениями, служащими для обозначения трех различных граней бытия. В человеке разум — это лишь определенная свобода, которая ощущает свой предел. Но эта свобода является еще, в кругу своих определений, неизбежностью, неизбежностью живучей и персональной. Поэтому, когда сознание человеческого рода провозглашает, что неизбежность Вселенной, то есть высшая, верховная неизбежность, адекватна разуму, так же, как и бесконечной свободе, оно лишь выдвигает гипотезу в любом случае законную, проверка которой необходима всем сторонам.

3) В настоящее время *гуманисты*, новые союзники, появляются и говорят: Человечество в целом — это реальность, ведомая общественным гением под мистическим именем Бога. Этот феномен коллективного разума, вид миража, — в котором человечество, созерцая себя, принимает себя за внешнее, возвышенное существо, — который смотрит на него и руководит его судьбами; эта иллюзия сознания, скажем мы, была проанализирована и объяснена; и отныне богословская гипотеза воспроизводится в науке. Надо сосредоточиться только на обществе, на человеке. *Бог* в религии, *государство* в политике, *собственность* в экономике — такова тройная форма, в которой человечество, ставшее чуждым самому себе, не переставало разрывая себя своими же руками, и которую сегодня оно должно

отвергнуть.

Я допускаю, что любое утверждение или предположение о Божественности исходит из антропоморфизма, и что Бог есть прежде всего лишь идеал, или, лучше сказать, призрак человека. Более того, я допускаю, что идея Бога является прообразом и основой принципа власти и произвола, который в нашей задаче — уничтожить или, по крайней мере, подчинить везде, где бы он ни проявлялся — в науке, в работе, в городе. Я также не противоречу гуманизму, я продолжаю его. Овладевая его критикой божественного существа и применяя ее к человеку, я наблюдаю:

Что человек, поклоняясь себе, как Богу, постулировал из него идеал, противоречащий его собственной сущности, и объявил себя антагонистом верховного совершенного существа, одним словом, бесконечности;

Что человек, следовательно, по его собственному суждению, является лишь ложным божеством, так как, создавая Бога, он отрицает самого себя; и что гуманизм — такая же отвратительная религия, как и все теизмы античного происхождения;

Что этот феномен человечества, возмнившего себя Богом, не объясняется терминами гуманизма и требует дальнейшего истолкования.

Бог, согласно богословской концепции, — это не только суверенный арбитр Вселенной, непогрешимый и бессознательный царь творений, разумный тип человека; он — вечное, неизменное, присутствующее везде, бесконечно мудрое, бесконечно свободное существо. Так вот, я говорю, что эти атрибуты Бога содержат в себе больше, чем идеал, больше, чем нечто возвышающееся, до такой степени, насколько это будет угодно, над соответствующими атрибутами человечества; я говорю, что они противоречат друг другу. Бог противоположен человеку, так же как милосердие противоположно справедливости; святость, идеал совершенства, противоположна совершенству; царственность, идеал законодательной власти, противоположна закону и т. д. Так что божественная гипотеза возродится из своего разрешения в человеческой реальности, и проблема полного, гармоничного и абсолютного существования, всегда удаленного, всегда возвращается.

Чтобы продемонстрировать эту радикальную антиномию, достаточно сопоставить факты с определениями.

Из всех фактов, наиболее достоверных, наиболее постоянных, наиболее бесспорных, несомненно, что человеческое знание прогрессивно, методично, рефлексивно, одним словом, экспериментально; до такой степени, что любая теория, лишенная подтверждения опыта, то есть постоянства и сцепления в своих представлениях, теряет научный характер. В этом отношении мы не можем вызывать ни малейшего сомнения. Сама математика, квалифицируемая как чистая, но подверженная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ высказываний, тем самым вытекает из опыта и признает его закон.

Наука о человеке, исходя из приобретенного наблюдения, таким образом продвигается вперед и продвигается в безграничной сфере. Термин, к которому она стремится, идеал, который она стремится реализовать, но никогда не может достичь его, а наоборот,

постоянно отступает от него, — это бесконечность, абсолют.

Так что было бы бесконечной наукой, абсолютной наукой, определяющей такую же бесконечную свободу, какую предполагает умозрение (домысел) в Боге? Это было бы знание не просто всеобщее, а интуитивное, спонтанное, свободное от всяких колебаний, как от всякой объективности, хотя оно охватывало и реальное, и возможное; наука достоверная, но не доказательная; полная, но не последовательная; наука, наконец, которая, будучи вечной в своем становлении, была бы лишена всякого характера прогресса в соотношении ее частей.

Психология собрала множество примеров такого способа познания, в инстинктивных и волшебных способностях животных; в спонтанном таланте некоторых людей, рожденных расчетливыми, или творческими, независимо от всякого образования; наконец, в большинстве человеческих институтов и первобытных памятников, произведенных бессознательным, независимым от теорий гением. И столь правильные, столь сложные движения небесных тел; чудесные сочетания материи: не кажется ли, что все это — следствие особого инстинкта, присущего стихиям?... Если, следовательно, Бог существует, то нечто от него предстает нам во Вселенной и в нас самих: но это нечто находится в явном противоречии с нашими самыми подлинными тенденциями, с нашим самым определенным предназначением; это нечто постоянно стирается из нашей души посредством образования, и вся наша забота заключается в том, чтобы оно исчезло.

Бог и человек — это две природы, которые избегают друг друга, как только узнают друг друга: как, если не преобразится ни одна из них, ни обе, они когда-нибудь смогут примириться? Как, если прогресс разума состоит в том, чтобы всегда отдалять нас от божества, то Бог и человек посредством разума станут тождественны? Как, в результате, человечество посредством образования сможет стать Богом?

Возьмем другой пример.

Суть религии — чувство. Следовательно, через религию человек приписывает Богу чувство, как он приписывает ему разум; более того, он утверждает, следуя обычному ходу своих идей, что чувство в Боге, как и наука, бесконечно.

Но одного этого достаточно, чтобы изменить в Боге качество чувства и сделать его атрибутом, совершенно отличным от человеческого. В человеке чувство течет, так сказать, из тысячи разнообразных источников: оно противоречит себе, оно мутится, оно рвется само; без этого оно не чувствовало бы себя. В Боге, напротив, чувство бесконечно, то есть оно единое, полное, постоянное, кристально чистое и не имеющее никакой необходимости раздражаться контрастом, чтобы прийти к счастью. Мы сами переживаем этот божественный способ ощущения, когда единое чувство, восхищающее все наши способности, как в экстазе, на мгновение накладывает молчание на другие привязанности. Но этот восторг всегда существует только с помощью контраста и какой-то провокации, пришедшей откуда-то извне: он никогда не бывает совершенным, или, если он достигает полноты, то это как светило, которое достигает своего апогея в одно неделимое мгновение.

Таким образом, мы живем, чувствуем, мыслим только через череду противостояний и

потрясений, через междоусобную войну; наш идеал, следовательно, не бесконечность, это равновесие; бесконечность выражает нечто иное, чем мы.

Говорят: У Бога нет атрибутов, свойственных только ему; его атрибуты — атрибуты человека; поэтому человек и Бог — одно и то же.

Напротив, атрибуты человека, будучи бесконечными в Боге, тем самым являются собственными и специфическими: именно характер бесконечного становится особенностью, сущностью, благодаря которой существует конечное. Отрицание, следовательно, реальности Бога, — как отрицание реальности противоречивой идеи; отталкивание от науки и морали этого неуловимого и кровавого призрака, который, чем дальше, тем больше, кажется, преследует нас; может до определенного момента оправдать себя и ни в коем случае не навредит. Но не стоит из Бога делать человечество, потому что это будет клеветой на обоих.

Можно ли сказать, что противостояние между человеком и божественным существом иллюзорно и что оно происходит из противостояния, которое существует между отдельным человеком и сущностью человечества в целом? Тогда надо утверждать, что человечество, поскольку именно человечество обожествляется, не является ни прогрессивным, ни противопоставленным в разуме и чувстве; словом, что оно бесконечно во всем, что опровергается не только историей, но и психологией.

Это не так, — восклицают гуманисты. Чтобы иметь идеал человечества, надо рассматривать его уже не только в его историческом развитии, а во всей совокупности его проявлений, как если бы все человеческие поколения, собравшись в одно мгновение, образовали единого человека, человека бесконечного и бессмертного. То есть отказываться от реальности, чтобы захватить проекцию; что настоящий человек — это не реальный человек; что для того, чтобы найти настоящего человека, человеческий идеал, нужно выйти из времени и войти в вечность, что я говорю? Дезертирство конечного для бесконечности, человек для Бога! Человечество, таким, каким мы его знаем, каким оно развивается, таким, одним словом, каким оно может существовать, право; нам пока зали перевернутое изображение, как в зеркале, а потом сказали: Вот человек! А я отвечаю: Это уже не человек, это Бог. Гуманизм — самый совершенный теизм.

Так что же это за провидение, которое предполагают в Боге теисты? Способность в основном человеческая, антропоморфный атрибут, с помощью которого Бог должен смотреть в будущее в соответствии с ходом событий, поскольку мы, люди, смотрим в прошлое, следуя перспективе хронологии и истории.

Так вот, очевидно, что как бесконечность, то есть спонтанная и универсальная интуиция в науке, претит человечеству, так и провидению претит гипотеза божественного существа. Бог, для которого все идеи равны и параллельны; Бог, чей разум не отделяет синтез от антиномии; Бог, для которого вечность делает все сущее настоящим и современным, не смог, создавая нас, открыть нам тайну наших противоречий; и это именно потому, что он Бог, потому что он не видит противоречия, потому что его разум не подпадает под категорию времени и закона прогресса, потому что его разум интуитивен, а его наука бесконечна. Провидение в Боге — это одно противоречие в другом; именно посредством

провидения Бог действительно был сотворен по образу и подобию человека; отнимите это провидение, Бог перестает быть человеком, а человек в свою очередь должен отказаться от всяких притязаний на божество.

Спросят, вероятно, для чего Богу бесконечная наука, если ему не ведомо, что происходит в человечестве.

Давайте различать. У Бога есть восприятие порядка, чувство добра. Но этот порядок, это добро он видит как вечное и абсолютное, он не видит его в том, что он предлагает последовательного и несовершенного; он не улавливает его недостатков. Только мы способны видеть, чувствовать и оценивать зло, как и измерять длительность; потому что только мы способны производить зло, и потому что наша жизнь временна. Бог видит, чувствует только порядок; Бог не улавливает того, что происходит, потому что то, что происходит, находится *ниже* него, ниже его горизонта. Мы, напротив, видим разом добро и зло, временное и вечное, порядок и беспорядок, конечное и бесконечное; мы видим в себе и вне себя; и разум наш, потому что он конечен, выходит за пределы нашего горизонта.

Таким образом, посредством сотворения человека и развития общества разум конечный и провиденциальный, наш разум, был заложен в противоположность интуитивному и бесконечному разуму, Богу; так что Бог, не теряя ничего из своей бесконечности во всяком смысле, кажется, одним только фактом существования человечества, умалется. Прогрессивный разум, возникающий в результате проекции вечных идей на подвижную и наклонную плоскость времени, человек может слышать язык Бога, потому что он исходит от Бога, и его разум поначалу подобен разуму Бога; но Бог не может ни слышать нас, ни спускаться к нам, потому что он бесконечен, и он не может облечься в атрибуты конечного, не перестав быть Богом, не разрушая себя. Догмат Провидения в Боге оказывается ложным, по сути и по праву.

Сейчас легко увидеть, как та же аргументация оборачивается против системы обожествления человека.

При неизбежном восприятии человеком Бога как абсолютного и бесконечного в его атрибутах, в то время как он сам (человек) развивается в обратном направлении от этого идеала, возникает несогласие между прогрессом человека и тем, что человек воспринимает как Бога. С одной стороны, кажется, что человек, по синкретизму своей конституции и совершенству своей природы, не является Богом и не может стать Богом; с другой стороны, ощутимо, что Бог, Высшее существо, является антиподом человечества, онтологической вершиной, от которой оно бесконечно отдаляется. Бог и человек, распределив, так сказать, антагонистические способности бытия, по-видимому, играют партию, чьей ценой является управление вселенной: одному — спонтанность, непосредственность, непогрешимость, вечность; другому — незапланированность, дедукция, подвижность, время. Бог и человек играют в вечные шахматы и беспрестанно убегают друг от друга; в то время как второй делает ходы, не давая себе отдыха в размышлениях и теориях, первый, по своей провиденциальной неспособности, кажется, отступает в спонтанности своей природы. Таким образом, существует противоречие между человечеством и его идеалом, оппозиция между человеком и Богом, противопоставление, которое христианское богословие аллегоризировало и олицетворяло под именем Дьявола или Сатаны, то есть

противоречивого, врага Бога и человека.

Такова фундаментальная антимония, которую, я вижу, не учитывают современные критики, и которая, если пренебречь ею, рано или поздно приведет к отрицанию Бого-человека, а следовательно, и к отрицанию всей этой философской интерпретации, снова откроет дверь религии и фанатизму.

Бог, по мнению гуманистов, есть не что иное, как само человечество, коллективное «я», которому подчиняется как невидимому хозяину индивидуальное «я». Но зачем это своеобразное видение, если портрет точно скопирован с оригинала? Почему человек, который с самого рождения непосредственно и без телескопа знает свое тело, свою душу, своего вождя, своего священника, свою родину, свое государство, должен вглядываться в себя, как в зеркале, и не узнавать себя в фантастическом образе Бога? В чем необходимость этой галлюцинации? Что это за мрачное и темное сознание, которое по прошествии определенного времени очищает себя, исправляет себя и, вместо того чтобы приниматься за другое, окончательно устанавливается как таковое? Зачем человеку эта трансцендентальная исповедь общества, когда само общество было там, настоящее, видимое, осязаемое, желаемое и действенное; когда, наконец, оно было известно как общество и названо так?

Нет, говорят, общества не существовало; люди были сгруппированы, но не связаны: произвольное устройство собственности и государства, так же, как нетерпимый догматизм религии доказывают это.

Чистая риторика: общество существует с того дня, когда люди, общаясь трудом и словом, принимали взаимные обязательства и рождали законы и обычаи. Несомненно, общество совершенствуется по мере развития науки и экономики: но ни в одну эпоху цивилизации прогресс не влечет за собой такой метаморфозы, о которой мечтали создатели утопии; и как бы превосходно ни было будущее состояние человечества, оно тем не менее будет естественным продолжением, необходимым следствием его прежних позиций.

К тому же, поскольку ни одна система объединения сама по себе не исключает, как я уже отмечал, братства и справедливости, политический идеал никогда не мог быть спутан с Богом, и на самом деле видно, что у всех народов общество отличалось от религии. Первое принималось за *цель*, второе рассматривалось только как *средство*; князь был министром коллективной воли, в то время как Бог властвовал над сознаниями, ожидая за гробом виновных, избежавших правосудия людей. Сама идея прогресса и реформ нигде не отсутствовала; наконец, ничто из того, что составляет общественную жизнь, ни в одной религиозной стране не было полностью проигнорировано или неправильно понято. Зачем же тогда, еще раз, нужна эта тавтология Общества-Божественности, если верно, как утверждается, что богословская гипотеза не содержит в себе ничего, кроме идеала человеческого общества, предвечного типа человечества, преображенного равенством, солидарностью, трудом и любовью?

Конечно, если это оказалось бы предрассудком, мистицизмом, разочарованием, которое кажется мне сегодня опасным, то это уже не католицизм, который уходит, это было бы скорее этой гуманитарной философией, происходящей от человека, основанной на вере в

умозрение, которое слишком научно, чтобы не смешиваться произвольно со святым и священным существом; провозглашая его Богом, то есть по существу благим и упорядоченным во всех его проявлениях, несмотря на обескураживающие свидетельства, которые он не прекращает предоставлять, о своей сомнительной морали; приписывая свои пороки принуждению, в котором он жил, и обещая себе от него, посредством полной свободы, акты чистейшей преданности, потому что в мифах, в которых человечество, следуя этой философии, изобразило себя, описываются и противопоставляются друг другу под названиями ада и рая времена принуждения и наказания и эпоха счастья и независимости! При таком учении достаточно будет, впрочем, того, что человек признает, что он не Бог и не добрый, не святой и не мудрый, чтобы он тотчас же бросился в объятия религии: так что в конечном счете все, что мир получит от отрицания Бога, будет воскресением Бога.

Не таков, на мой взгляд, смысл религиозных басен. Человечество, признавая Бога своим автором, своим учителем, своим *альтер эго* (другим я), лишь антитезой определило свою собственную сущность: эклектичную и полную контрастов сущность, исходящую от бесконечности и противоречивую бесконечности, развитую во времени и стремящуюся к вечности, ошибочную по всем этим причинам, хотя и руководствующуюся чувством прекрасного и порядка. Человечество — дочь Бога, как и всякая оппозиция — дочь прежнего положения: именно поэтому человечество открыло Бога подобным себе, наделило его собственными атрибутами, но всегда придавая им специфический характер, то есть определяя Бога противоречивым себе. Человечество является призраком для Бога, так же как он является призраком для него; каждый из двух предназначен для другой причины, причины и конца существования.

Таким образом, было недостаточно доказать посредством критики религиозных идей, что представление о божественном «я» ведет к восприятию человеческого «я»; еще нужно было контролировать эту дедукцию с помощью критики самого человечества и посмотреть, удовлетворяет ли это человечество условиям, которые предполагает его кажущаяся божественность. Так вот, именно этой работе мы торжественно положили начало, когда, исходя одновременно из человеческой реальности и из гипотезы божественного, начали разворачивать историю общества в его экономических установках и в его умозрительных заключениях.

Мы обнаружили, с одной стороны, что человек, хотя и спровоцированный антагонизмом своих идей, хотя до некоторой степени оправданный, совершает зло бессмысленно и с расцветом животных страстей, что противно характеру свободного, разумного и святого существа. С другой стороны, мы показали, что природа человека не устроена гармонически и синтетически, а сформирована скоплением виртуальностей, специфичных для каждого существа, — обстоятельство, которое, открывая нам принцип нарушений, совершаемых человеческой свободой, завершило для нас демонстрацию небожественности нашего вида. Наконец, доказав, что в Боге не только не существует провидения, но что оно невозможно; иначе говоря, отделив в бесконечной Сущности божественные атрибуты от антропоморфных, мы пришли к выводу, вопреки утверждениям старой теодицеи, что в отношении человеческого предназначения, в основном прогрессивного, разум и свобода в Боге претерпевали контраст, своего рода ограничение и умаление, обусловленные характером его вечности, неизменности и бесконечности; так что человек, вместо того, чтобы почитать в Боге своего правителя и проводника, мог и должен был видеть в нем

только своего антагониста. И этого последнего соображения будет достаточно, чтобы заставить нас отвергнуть также гуманизм, как неодолимо стремящийся через обожествление человечества к религиозной реставрации. Настоящее средство от фанатизма, по нашему мнению, состоит не в том, чтобы отождествлять человечество с Богом, что равносильно утверждению общности в социальной экономике, мистицизма и *status quo* (существующего положения вещей) — в философии; а в том, чтобы доказать человечеству, что Бог, в случае, если он существует, является его врагом.

Какое решение появится позже на основе этих данных? Будет ли Бог в конце концов кем-нибудь?

Не ведаю — узнаю ли я это когда-нибудь. Если правда, с одной стороны, что у меня сегодня оснований утверждать реальность человека, существа непоследовательного и противоречивого, не больше, чем (утверждать) реальность Бога, существа непостижимого и имманентного, то я знаю, по крайней мере, из радикального противопоставления этих двух натур, что мне нечего надеяться и опасаться таинственного автора, которого мое сознание невольно предполагает; я знаю, что мои самые подлинные наклонности каждый день отдаляют меня от созерцания этой идеи; что практический атеизм должен отныне быть законом моего сердца и моего разума; что из наблюдаемой неизбежности я должен постоянно познавать правило моего поведения; что любая мистическая заповедь, любое божественное право, которое было бы предложено мне, должно быть мною отброшено и преодолено; что возвращение к Богу через религию, лень, невежество или покорность — это покушение на самого себя; и что если когда-нибудь мне придется примириться с Богом, то это примирение, — невозможное, пока я жив, и в котором я буду иметь все, чтобы выиграть и ничего не потерять, может произойти только через мое уничтожение.

Итак, давайте сделаем заключение и запишем его на колонне, которая должна служить ориентиром для наших дальнейших исследований:

Законодатель *остерегается* человека, сокращенно — природы, и синкретизма всех существ. — Он *не полагается* на Провидение, способность, не мыслимую в бесконечном разуме.

Но, внимательный к последовательности явлений, послушный урокам судьбы, он ищет в неизбежности закон человечества, вечное пророчество его будущего.

Он также иногда вспоминает, что если чувство Божественного ослабевает среди людей; если вдохновение свыше постепенно отступает, чтобы освободить место для умозаключений опыта; если между человеком и Богом происходит все более очевидное разделение; если этот прогресс, форма и состояние нашей жизни, ускользает от представлений бесконечного и, следовательно, анисторического разума; если, говоря проще, напоминание о Провидении со стороны правительства является одновременно трусливым лицемерием и угрозой свободе; однако всеобщее согласие народов, проявленное установлением стольких разнообразных культов, и вечно неразрешимое противоречие, которое поражает человечество в его идеях, проявлениях и тенденциях, указывают на тайную связь нашей души, а через нее — всей природы, с бесконечностью, связь, определение которой выразило бы одновременно в одной паре смысл Вселенной и причину нашего существования.

